

Сергей Кузичкин

Дюма-внук и народ вокруг

Ироническая повесть

Один на всех

Дюма-внук проснулся, как обычно, в семь сорок. По привычке минут десять он не торопился: смотрел на окно и в потолок. Вспомнил: во второй половине дня ему нужно сделать съёмку на левом берегу Енисей-града, а до того отвезти на дачу к тёще с тестем два табурета и большую чугунную сковороду без ручки. Табуреты и сковорода были приготовлены с вечера. Табуреты ждали его, стоя в прихожей связанными, а большая сковорода лежала на одном из них, накрыв всю поверхность табурета и даже захватывая часть стоящего рядом.

Дюма-внук потянулся, с чувством зевнул и, откинув одеяло на лежавшую у стенки жену Маргариту, резво соскочил с постели. Минут десять он чистил зубы в ванной, напевая вполголоса:

Лепестками алых роз
Наше ложе застелю...

Потом четверть часа пил чай на кухне, сидя за столом с голым торсом и в спортивных трусах, разглядывая на экране ноутбука фотографии с последними дачными и очень удачными снимками, то и дело повторяя едва слышно:

Тыними,ними меня, фотограф,
Так, чтоб рядом звонко пели птицы...

Когда надел спортивные брюки и стал натягивать футболку, зазвонил мобильный телефон, разбудив мелодией «Пластилиновая ворона» жену Маргариту, сразу же недовольно забурчавшую не по поводу громкой музыки, а потому что на ней опять два одеяла.

Звонил Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, спрашивал: может ли Дюма-внук привезти коробки с книгами из типографии к нему домой? Дюма-внук, сославшись на сегодняшнюю съёмку, предложил Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату позвонить ему послезавтра, объяснив попутно спокойным тоном, что завтра он тоже занят неотложными делами на даче и в фотостудии. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат стал материться в трубку, и Дюма-внук понял, что разговор завершён.

В прихожей Дюма-внук, отодвинув сковородку, присел на свободный табурет и, кряхтя, напялил

на себя кроссовки: сначала на левую ногу—наиболее сопротивляющуюся импортной некачественной обуви, а потом и на правую—привычную облачаться чаще при разного рода примерках в магазинах и на рынках. Сняв с вешалки за ремешки один прямоугольный футляр—с фотоаппаратом «Nikon» и один круглый—со сменным импортным объективом, Дюма-внук повесил их себе на шею и попробовал пристроить в руках сковороду и табуреты. Сковорода—в правой руке, а связка из табуретов—в левой. Вроде получалось, но он подумал, что так будет не совсем удобно открывать, а потом закрывать дверь, спускаться по узкой лестнице, выходить из подъезда, а потом ещё идти к гаражу с занятыми руками, да ещё с фотоаппаратом и футляром, колыхающимися у него на животе. Поставив табуреты снова на пол и положив на ближний к нему сковороду, Дюма-внук отодвинул обувную полочку под вешалкой и вытащил здоровенную мешковину, в которой лет десять назад, ещё до появления у него цифровой фототехники, он получал химикаты для редакционной фотолaborатории. Химикаты давно были частью использованы, частью выброшены за ненадобностью, а мешок остался. И пригодился: не так давно Дюма-внук возил в нём на ремонт компьютер. Вот и сейчас туда без труда вошли связанные табуреты и многодоймовая сковорода.

Перехватив левой рукой мешковину чуть выше середины, в горловину, Дюма-внук оторвал мешок от пола, толкнул плечом входную дверь, крикнул в спальню дремлющей жене:

— Марго! Маргушка, пока! Чикаго! Я поехал!—и вышел в коридор, не дожидаясь ответа, захлопнув за собой дверь.

Он легко сбежал по лестнице с третьего этажа на первый, выпорхнул из подъезда и быстрым шагом направился к гаражу, почти не ощущая колыханий фотоаппарата и футляра на животе и тяжести в руке. Оставив мешковину в стороне от ворот, Дюма-внук открыл гараж и выгнал оттуда свой белый двухдверный автомобиль «Suzuki». Небрежно бросив мешковину на заднее сиденье авто, Дюма-внук закрыл ворота гаража, уселся за руль, снял с себя фотоаппарат и объектив и аккуратненько,

с любовью профессионального фотографа, положи их рядом на свободное сидение.

Путь его лежал от улицы имени газеты «Пионерская правда», где он жил, через Медицинский переулок к дачному посёлку, к Кристиной горе.

Кристина гора

Кристиной горой называют дачу на правом берегу Енисей-града. Вообще-то дач над Медицинским переулком полно, но эта — с домиком, огородом и баней во дворе, находившаяся ближе к вершине и принадлежавшая тётке Кристе, тёще известного всему Енисей-граду фотографа по прозвищу Дюма-внук, — особенная.

Сама её хозяйка — Кристя, или Кристина, — когда-то звалась Валентиной, но об этом помнят немногие. В числе их — пожилая девяностолетняя мать её Альбина Фёдоровна и тридцатилетняя дочь Маргарита, ну и сам Дюма пока не забыл, как звать по-настоящему его вторую маму. Ещё, правда, в паспортном столе Свердловского района Енисей-града данное от рождения имя этой женщины в официальных бумагах записано, но паспортистки меняются там часто, и не факт, что новая с ходу не назовёт Валентину, как все, Кристей-Кристиной.

Детство и юность Кристины-Валентины прошли на правом берегу Енисей-града, в бывшем спецпосёлке, среди длинных чёрных и серых барачков, оставшихся после расформирования лагеря заключённых, в среде отбывших назначенные им сроки по политическим и уголовным делам мужчин и женщин, большой группой оставшихся на жительство по месту отсидки. С обеих сторон каждого из барачков, из старых почерневших и новых белоструганных досок, стояли понастроенные на скорую руку стаечки-сараяшки, где держали бывшие подневольные и их жёны поросат и курей. Ходил меж барачков и сараев, пугая малышей, чей-то здоровенный смолянистый индюк, и паслись на лужайке за посёлком, ближе к Енисею, несколько беленьких козочек. Среди них была и коза Маруська, принадлежавшая родителям Валентины.

Росла Валечка вместе с детьми бывших эзков, и тюремно-лагерный жаргон, на котором говаривали девяносто три процента окружающих её людей, по мере взросления девочки становился частью её повседневности. Как ежеутренние тарелка манной каши и кружка козьего молока.

За годы, проведённые в неволе, большинство жителей посёлка сделались склонными к словотворчеству. Немало было тут тех, кто за словом в карман не лез и отличался остротами. Своим устным словотворчеством выделялась и Валя. Она продвинулась дальше других потомков бывших невольников: большинство её сверстников ещё в детстве-отрочестве получили от будущей Кристи новые имена и клички, которые потом до старости и носили. И что удивительно: новые

имена и прозвища часто отражались в лицах и движениях, проявлялись в поступках и в словах точностью определённого Валея образа. К примеру, сверстница Валентины соседка Тоня, когда Валя увлеклась чтением зарубежной литературы, сначала была названа на апеннинно-пиренейский лад Тониэллой, потом Тонниель, а после — Спаниель. Окончательный вариант был не случаен, ибо Антонина, что по молодости, что с годами, своими манерами напоминала ласковую собачку, и будь у неё хвостик, наверняка беспрестанно бы виляла им и складывала трубочкой. Одноклассник Андрей, поступивший в ПТУ учиться на повара, сначала был прозван Валея Коком, но вскоре стал просто Кокой. Слово «Коко» прилипло и стало именем человека, который и поваром-то после окончания училища ни дня не работал: ушёл в армию, после в локомотивном депо стал машинистом электровоза. Коко-машинист — звали его на работе, просто Коко — знакомые за глаза и в глаза, Кокушко — когда с любовью, когда иронично называла его жена. Кокушкин-молокушкин — дразнили его злые дети из подворотни, внуки бывших заключённых. И бесполезно было этому человеку, настоящее имя которого для окружающих забылось, а фамилия называлась только официально — на работе, выходить из себя, вытирать носовым платочком потеющую свою жёлто-блестящую яйцеобразную лысину, кричать и ругаться: для всех он стал Кокой. А сосед из барака напротив — Сарделькиным. Любил этот крепыш с пышными усами по утрам выходить с дымящимися сардельками на блюдецке и, поедая их с вилочки, глазеть на происходящее во дворе.

Мало кто из людей окружавшего её мира остался не перекрещённым Валентиной. Досталось и родителям. Мать её, санитарка правобережной городской больницы, по мере интеллектуального роста девочки называлась то Альбой, то Альбатросом, то Альбатросихой. А не доживший до старости её папа, бывший по малолетству вором-домушником, а потом исправившийся и прошедший трудовой путь от слесаря-сантехника до начальника конторы ЖКО, имеющий данное родителями имя Вася-Василий и весёлый по жизни нрав, часто был называем дочерью на кавказский лад — Васо, а более полно — Васо Веселовшили.

Папа Васо не остался в долгу перед дочуркой, и то, что его Валечка стала Кристинкой-Кристиной-Кристей, — заслуга его. С его логикой не поспоришь: раз даёшь всем имена-клички-прозвища, перекрещиваешь на свой лад, то и будешь Кристинкой, или ещё проще — Кристей. Веселовшили как-то пару раз назвал дочь, вроде бы в шутку, Кристинкой-Перекрестинкой при большом скоплении народа, а однажды кликнул во дворе из-за стола, играя в домино с мужиками: «Кристя, квасу принеси!» — и новое имя было тут же подхвачено.

Многие, уже перекрещённые к тому времени Валентиной, с радостью ухватились за слова папы Веселошвили и с большим восторгом понесли их, активно внедряя новое имя своей обидчицы в посёлке и ближних дворах недавно выстроенных каменных двухэтажек.

Конечно же, не ожидающая подобного оборота Валя-Кристя некоторое время негодовала, злилась и даже несколько раз выходила из себя, публично называя родного папу Котом Котофеичем, Котярой и даже Кошкиным. Но Василий-Васо лишь громко смеялся и на всплески дочуркиного гнева отвечал разными небылицами про Кристинку-Перекрестинку, чем, собственно, и гасил её агрессию. Вспыхнувшая было Валентинка-Кристинка тушила свои вспышки обильными слезами, а то и громким рёвом, осознавая, что тягаться с собственным папашей, в совершенстве знающим язык лагерей и коммунальных работников, ей не хватит ни сил, ни опыта. Папа был признанным авторитетом во всей округе на житейском уровне, а уж на производственно-бытовом ему, пожалуй, не было равных во всём Енисей-граде.

Кристя схватки с отцом проигрывала, но не сдавалась. Перепалки с папой Веселошвили закаляли её, она напивывалась от родителя его энергетикой, перенимала манеру лёгкости в разговорах и, выйдя из дому, тут же применяла усвоенный словесно-духовный материал на соседях, одноклассниках, учителях. Доставалось даже знакомым её родителей, приезжавшим с другого берега Енисея в гости или по делам. Если гостившие приезжали с детьми, то редко кто из ребятешек оставался не переименованным Кристей и не уезжал со слезами и озлобленный.

Перекрещённые и озлобленные дети с левого берега Енисея долго помнили свою обидчицу и старались больше не встречаться с ней. Это желание у многих сохранилось и по мере их взросления, и если представлялся случай увидеться им где-то с Кристей мимолётно или близко, то некоторые делали вид, что с ней незнакомы. Кристя-Кристинина отвечала тем же. Хотя не всегда. После школы она поступила в медицинское училище, где встретила некоторых повзрослевших детей левобережных знакомых, а потом, когда пришла работать в больницу, то стала встречать и узнавать ещё больше людей из категории когда-то гостивших у них и переименованных ею. Ни жить, ни работать это ей не мешало. Она будто бы и не помнила о своих шалостях. К тому времени папы Веселошвили уже не было в живых, часть его авторитета тут же автоматически перешла к его Кристине-Валентине, и многие, хорошо знавшие Василия-Васо, с почтением — а кто и с поклонением — относились к его дочери.

Да, с молодых лет Кристя была боевой и целеустремлённой. Не мать её Альбатросиха, а именно

она, Валя-Кристя, унаследовала участок, выделенный папе под строительство дачи, у вершины горы, поставила домик недалеко от дорожки в гору и выстроила баню под молодой сосной. В общем-то, домик и баню пришлось строить её мужу — Николаю, или дяде Коле, как звал иногда тестя Дюма-внук.

Зять Дюма, пожалуй, был единственным, кто произносил настоящее имя мужа Кристины, все остальные звали его кто как горазд. Чаще от производных его фамилии. А фамилия у тестя Дюмы-внука была нераспространённой по городу, краю и даже по стране. Дядя Коля-Николай был — Решёткиным. Сама Кристя в хорошем настроении звала мужа — Ришелье, а в плохом — Решетулин; некоторые соседи по квартире и по даче называли его Зарешеченным, имея в виду, что находился он под руководством и гнётом жены; а бывало, нет-нет да проникало через забор во двор Кристиной дачи ещё одно прозвище Ришелье-Зарешеченного — Сильвер. И что самое интересное, Дюма-внук замечал: прозвище это не раздражало, как другие, тестя, а вызывало на его лице улыбку. По рассказам самого Ришелье-Решёткина, Сильвером прозвали его в детстве друзья по двум причинам: пятиклассником он сломал ногу и долго хромал, а ещё потому, что одно время у него жил ворон, которого Николай учил разговаривать, но тот, выкаркивая что-то своё, никак не хотел произносить слово «пиастры», зато без страха садился на плечо хозяина. Хромой и с птицей на плече — ну чем не герой «Острова сокровищ» Роберта Стивенсона?

Вот этот Решёткин-Зарешеченный-Решетулин-Ришелье-Сильвер, или попросту дядя Коля, и приложил основные усилия, чтобы на участке у вершины горы, позже названной Кристиной, вырос домик. Домик, ограждённый штакетником, появился там в середине восьмидесятых, когда в целом по стране, и в окрестностях Енисей-града в частности, начали раздавать народу деляны под садово-огородные участки и выстроился на горе над Медицинским переулком целый дачный городок.

Дюма-внук, много сделавший для развития и укрепления Кристиного загородного хозяйства, как ни странно, к появлению домика на горе отношения не имел. Когда домик задумывался и начинался строиться, Дюма-внук ещё не числился зятем Кристи и Сильвера и даже не был знаком с их дочерью Маргаритой. Да и Дюмой в то время его ещё никто и не думал звать, а тем более с припиской «внук» или «внучок», как иногда иронично называли его некоторые приятели, о которых ещё пойдёт речь в этом повествовании. Тогда молодой фотограф-любитель, только отмучившись десять лет в борьбе со знаниями в школе, поступил учиться на фотографа-профессионала и ждал призыва в Вооружённые силы.

К Кристе, к Кристиной горе автор ещё вернётся, обязательно расскажет также об обитателях горы и гостей домика с банькой, а пока — снова о Дюме-внуке.

Дюма-внук

Что может показаться читателю странным: тёща Кристя не имела никакого отношения к прозвищу зятя. Дюмой, а после — Дюмой-внуком его нарекли коллеги — фотографы и корреспонденты. Случилось это довольно обыденно, а не романтично, как может показаться на первый взгляд, вернее — на первый слух. Услышав обращение к человеку «Дюма» или «Дюма-внук», любой житель Енисейграда и даже приезжий или проезжающий через город с невольным почтением поднимет голову, чтобы взглянуть на обладателя такого имени-прозвища, и в девяносто случаях из девяносто одного подумает, что Дюма-внук как-то связан с литературным творчеством: на профессиональном или хотя бы на любительском уровне занят сочинительством. Но незнакомец, желающих узнать историю появления этого имени-прозвища, ждёт, в принципе, бытовая история. На самом деле Дюма-внук за сорок своих жизненных лет не сочинил даже двух рифмованных строк. Нерифмованные сочинять пытался, когда работал в профсоюзной газете, где вредный редактор заставлял его подписывать фотографии, запланированные в номер. Но сколько ни пыжился Дюма-внук, у него ничего не получалось. Он ещё со школы не любил сочинений и изложений, а когда попал в газету, то часто обращался за помощью к Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату. Благо тот тогда был рядом: несколько лет они вместе пропагандировали профсоюзную жизнь в городе и по краю, частенько выезжая в командировки. Тогда, правда, этак лет пятнадцать-двенадцать назад, Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат не был лауреатом не то чтобы без пяти, а без десяти, без пятнадцати и более того — даже без двадцати минут. Он вообще был далёк от всякого рода премий, не имел званий и книг и строчил статьи сразу в четыре, а то и в пять енисейградских газет, числясь во всех специальным корреспондентом (спецкором). Вот он-то без труда за минуту-полторы придумывал для Дюмы-внука текстовки и заголовки, чем сильно выручал товарища. Сам же Дюма бредил фотографиями и фотоаппаратами. Со школьных лет он ходил в кружки юных фотографов, кланчил деньги у матери на фотоаппараты, фотоплёнку и проявитель с закрепителем и был счастлив, когда у него получались удачные фотографии. А они получались всё чаще и чаще, и всё явственнее и явственнее проявлялся его талант фотохудожника на снимках самых разных жанров: портретных, пейзажных, спортивных, производственных. Да, он явно был художником, хотя и с приставкой

«фото», но никак не сочинителем, и, наверное, никто бы сильно не удивился, получи он прозвище Дали, Пикассо или Репин-Суриков, но...

Он стал Дюмой. Случилось это в начале девяностых годов, когда были колебания с заработной платой по всей стране и многие бросились на рынки и базары торговать своим и перепродавать чужое, используя любой случай, чтобы получить-добыть-заработать денюжку. Между делом появлялся на территории, приближенной к базару, и наш фотохудожник, уже тогда подрабатывавший редакционным фотоаппаратом на свадьбах и похоронах. Он предлагал книги из большой материнской библиотеки. Естественно, с разрешения мамы. Без особых усилий был продан Шекспир, не долго пришлось торговаться за Стендала и за «Вечный зов» Анатолия Иванова, а вот книги Дюма — ни отца, ни сына — почему-то не раскупались. Ни в какую. Где-то за три-четыре месяца, после того как фотограф занялся сбытом литературы, библиотека его магушки, собранная за три десятилетия, похудела на Жюль Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена, Михаила Пришвина и Алексея Толстого, а Дюма всё оставался. Отец и сын стояли нетронутыми в своём полном русскоязычном собрании сочинений. И напрасно начинающий коммерсант предлагал по выгодной цене книги великих французов на застольях, в кулуарах профсоюзных мероприятий, по телефону — все, как сговорившись, отвечали одинаково: «Нет, не надо, у меня есть уже».

Дело чуть не кончилось трагедией: фотокорреспондент лишился сна и аппетита, начинал каждый день со звонков, бормоча в трубку телефона: «Дюма, Дюма, вам Дюма не нужен?» — и однажды на планёрке потерял сознание, упав со стула.

Хорошо, что головой не на пол и не об стол, а на колени сидевшей рядом с ним молодой корреспондентки Ирочки. Редактор вызвал скорую, Ирочка и приятель-спецкорреспондент сопроводили бедного фотографа в стационар городской больницы и, дождавшись, когда его определят в палату, оставили на попечение врачей, медсестёр и санитарок.

Никто, кроме него самого, не знает, предлагал ли фотохудожник в стационаре другим больным и медперсоналу собрание сочинений клана Дюма (поговаривали, что он всё же сбавил за полцены все книги отца и сына какому-то больничному светлому духом коллекционеру редкой литературы), но Дюмой его самого стали называть именно тогда, когда он попал в больницу. Дня через два или три после этого, во время всередакционного чаепития, кто-то из коллег вдруг сказал:

— Надо бы нам нашего Дюму навестить, передачку какую-нибудь собрать, подбодрить, сказать, что ждём, мол...

Все тогда бурно зашумели и заулыбались, сбросились на покупки для больного и постановили:

отправить корреспондентку Ирочку, секретаршу Тамару Ивановну и спецкора пяти газет—будущего Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата—в больницу с передачкой от них для Дюмы. Кто был тот коллега, впервые громко назвавший его Дюмой, фотохудожник так и не дознался толком. До конца точно он не знал и кто прилепил слово «внук» к его новому прозвищу, но догадывался, что скорее всего—Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, ибо имел свидетелей, якобы слышавших, что тогдашний спецкор говорил неким активным товарищам-рыночникам, удерживая их от чрезмерного рвения:

— Вы поосторожней, а то получится как у Дюмы-внука: стал всем подряд предлагать книжки деда и отца, распродавать семейную коллекцию—и надорвался, бедный...

Так то было или не так, но когда фотохудожник вышел из больницы, его уже иначе как Дюмой-внуком никто из знакомых не называл.

Дюма-внук уверенно, несмотря на утренние заторы, напевая:

А дорога серую лентою вьётся...—

пересёк несколько оживлённых улиц правобережья Енисей-града, вывернул на Медицинский переулок, а затем направил «Suzuki» в гору. Внедорожник весело побежал к вершине по направлению, мало обкатанному авто, а потому лишь местами похожему на дорогу.

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор...

Дюма-внук любил свой автомобиль почти так же, как свой фотоаппарат «Nikon». Так же, как и импортный фотообъектив, он любил уютное, украшенное чехлом (красным плюшем с жёлто-чёрными тиграми) сиденье авто и легко переключаемую коробку передач, любил руль, обкрученный рукавом старой тестевой дублёнки мехом вверх, любил себя за рулём. А ещё Дюма-внук любил петь, покручивая баранкой. Закончив песню про шофёра на строчке:

Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло,—

преодолев половину горы, он продолжил начатую утром в умывальнике:

Я люблю тебя до слёз, без ума люблю...

У заброшенной лыжной базы Дюма-внук остановил песню и притормозил. У ворот, будто поджидая его, стояли трое: Оброс, Порос и Опрокис.

Три музытёра и Сын Татьяна

На Кристиной горе они числились музыкантами. Дюма-внук и вправду видел однажды, как Оброс перебирал кнопки старенького потёртого баяна,

Опрокис тренькал на гитаре с треснутым в двух местах грифом, стянутым чёрной изолентой, а Порос надрывно тянул за троих:

Я ехала домой... Двурогая луна
Смотрела в окна скучного вагона.
Далёкий благовест заутреннего звона
Пел в воздухе, как нежная струна...

Эти слова из этой песни, и только однажды, слышал Дюма пятнадцать лет назад, когда впервые оказался в дачном домике Кристи.

Как сделал он позже вывод, концерт специально был организован к его приходу. Маргарита решила познакомиться его с родителями и, конечно же, предупредила Кристю и Ришелье о намечающемся визите на гору Дюмы-внука.

Историю о том, как музыкальная троица попала на Кристину гору, зять Дюма слышал от тестя Ришелье в кратком изложении:

— Сбичевались... А куда им ещё деваться? Тут хоть с голоду не помрут, да и нам по хозяйству какая-никакая помощь.

Тёща Кристя называла их музытёрами. Естественно, это она дала каждому из них новые имена, и только ей одной было известно, почему долговязый назван Обросом, упитанный—Поросом, а низкорослый—Опрокисом. В общем-то, всё общение Кристи с троицей музытёров на глазах зятя проходило в форме приказов: сделать то-то и то-то,—а когда команды хозяйки не выполнялись как надо, она читала лекции «о хорошем поведении в быту и труде». Формулировку лекциям Кристи дал Ришелье-Решетулин. Не в силах выслушивать часовые проповеди жены, Ришелье, бросив краткое:

— Мамочка, я тут, неподалёку,— уходил за ограду или в дом.

Зять Дюма же, наоборот, любил словоизлияния тёщи. Он с наслаждением смотрел в это время на уверенную, похожую на профессоршу женщину с ясными глазами и стоящих с опущенными головами трёх бородатых мужиков. Тёща обычно читала лекции, сидя на стуле, с крыльца дачного домика, а музытёры стояли внизу, у первой ступени.

Больше всех доставалось, по праву старшего и самого высокого из троицы, Обросу. Бедолаге на глазах Дюмы несколько раз попадало от Кристи кочергой по хребту. Дюма видел, что тёща лупит страдальца несильно, больше пугая, потому происходящее приветствовал улыбкой, сам не имея желаний оказаться на месте Оброса. Оброс же, было видно, с иронией принимал экзекуции Кристи, сам нагибаясь под кочергу, а затем делая страдальческим лицо и выгибая фигуру. Иногда он падал после удара и изображал конвульсии. Но к номерам его обитатели Кристиной горы быстро привыкли и перестали проявлять сочувствие к выраженным на лице Оброса страданиям.

Самому маленькому музыкѣру, Опрокису, наказание чаще выпадало в виде оплеух, реже — пинков под зад. «Пинкарей», как выражалась Крестя, ловко поддав ему внешней стороной стопы или коленкой по мягкому месту. Опрокис после ударов и тычков всегда выкрикивал протяжное: «Ы-ой-й-й!» — и, выгнувшись вперѣд, подняв вверх руки, семена, отбегал в сторону.

Однажды всем троем надавал пинкарей и Дюма-внук. Это случилось в начале июня, когда Дюма достал у знакомых репортѣров семена редкого вида огурцов и решил самолично вырастить их в парнике. Обещали ночные заморозки, и отбывающий в командировку Дюма-внук попросил музыкѣров к ночи закрыть парничок. А музыкѣры, пообещав хозяйкиному зятю сделать всё как надо, то ли отвлеклись на какое-то срочное задание Крестии, то ли прочифирили до отбоя, но парник к ночи не укрыли, и огуречные ростки помѣрзли. Едва увидев сморщенные почерневшие побеги, разгневанный Дюма-внук одним рыком позвал к себе сразу трёх музыкѣров, а едва они приблизились, стал испытывать на них прочность своих новых кроссовок.

— Забью до смерти, собаки! Вам мои огурцы ещё задом выйдут! Полные задницы набью вам огурцами нового урожая! — кричал Дюма, размахивая длинными ногами.

Получение пинкарей от всегда улыбавшегося и фотографировавшего их человека стало для музыкѣров неожиданностью. Опрокис, даже не успев выкрикнуть своё протяжно-зычное: «Ы-ой-й-й!», через несколько мгновений оказался головой в парнике; более опытный Оброс, прикрывая лицо то правой, то левой рукой, уворачиваясь от мелькающих перед глазами ярких обуюток Дюмы-внука, вовремя сориентировавшись, бухнулся рядом с парником; и только коренастый, приземистый Порос молча и стойко перенѣс удары озверевшего хозяйкиного зятя.

«У-у! Статуй железобетонный!» — вспомнил Дюма-внук. Так кричала на Пороса, когда злилась, Крестя, глядя в его, как она говорила, «отмороженные глаза», но ни кочергой, ни ногами, ни руками его не касалась. Не касался его после этого побоища, как и других музыкѣров, и Дюма-внук. Он-то и раньше не доверял им ничего важного, а после случая с огуречной рассадой вообще перестал о чём-либо их просить, а потому больше и не злился. Даже наоборот, иногда выполнял просьбы музыкѣров: привозил им сигареты, чай, конфеты-карамельки и любил фотографировать их за чаепитием.

А чай они любили пить крепко заваренный, чѣрный, как дѣготь, при переливе из заварника в стакан или в кружку кажущийся Дюме-внуку похожим на тягучее машинное масло. Чаепитие устраивалось троичей на дню по несколько раз.

С чая начиналось каждое их утро и заканчивался вечер. «Дай им волю, — думал иногда Дюма-внук, — они и ночь напролѣт свой цифир дуть будут».

Но воли ночью музыкѣрам не давали, поэтому они ночами чай не варили. Да и к ночи у них он редко оставался. Той заварки, что привозил Дюма-внук, и той, что выдавала каждое утро Крестя, им не хватало до вечера, и если бы не их приятель Сын Татьян, то и не чаѣвничали бы они по пять-шесть раз за день.

История жизни Сына Татьян была более прозрачной, чем биографии залѣтных музыкѣров. Сын Татьян родился на правом берегу Енисей-града, и многие Крестиины знакомые и сама Крестя знали и его бабушку, и его мать, и его мачеху, и, конечно же, отца его Володю.

В том, что его сын стал Сыном Татьян, повинен этот самый Володя. Парнем он был робким, нелюдимым, женщин и девушек в молодые годы сторонился. Но лодырем не считался. После армии пришѣл работать в правобережный жилищно-коммунальный отдел Енисей-града, где начальствовал к тому времени Крестин папа Веселошвили. Сначала был разнорабочим, потом выучился на электрика. И вот как-то летним утром оформила на него заявку по всей форме в жко бывшая зѣчка Татьяна. В общем-то, она оформила заявку не лично на Володю, а на электрика: проводку в комнате барака ей надо было заменить. Свободным оказался Володя, потому и пошѣл он к Татьяне. Сначала поменял провода под розетки и выключатели, как было написано в наряде, а потом наладил выключатель и исправил розетку на кухне — уже по собственной инициативе. Хозяйка осталась довольна и пригласила электрика присесть с ней попить чаю. Он присел, да и зачаѣвничался. Сначала на день, потом и на второй, а три дня спустя видели и слышали соседи, как собирала Татьяна Володю утром на работу. Несмотря на разницу в возрасте (почти в два десятка лет), громкие разговоры и прогнозы в посѣлке и ближних двухэтажках, Володя от Татьяны не ушѣл ни через месяц, ни через два, и разговоры вокруг них стали затихать, но совсем не стихли. Примерно через полгода после того, как Володя поселился у Татьяны, они вспыхнули опять, в связи с новыми событиями. К Татьяне, по одним сведениям — из Тамбовской, а по другим — из Пензенской губернии, в общем, откуда-то с запада, явилась, на удивление многим, еѣ взрослая дочь по имени Таня, выросшая без матери, в семье отца. Небольшого росточка и шустрая — «вся в мать», приехала она, как говорили, вроде бы погостить, да и загостилась. Через некоторое время самые глазастые из поселковых разглядели у Татьяны-младшей растущий животик, и громкость издаваемых ими звуков при обсуждении новой темы повысилась на несколько децибел. А подпрыгнула громкость

разговоров резко и ещё в несколько раз, когда старшая Татьяна привела в загс Свердловского района Енисей-града свою беременную дочь и своего неофициального мужа. Весть о регистрации этого брака долго возглавляла поселковый и даже районный рейтинги слухов, а риторический вопрос: «Как они там, в своей семейке, ладят друг с другом?» — служил поводом для дискуссий как до, так и после родов Татьяной-младшей. Мальчику дали имя то ли Лёша, то ли Лёня. Сейчас это не важно, ибо ни Лёшей, ни Лёней никто в посёлке его никогда не называл. Воспитывался он в доме у бабушки, и хотя его папа и мама жили там же, все видели, что с внуком возилась только Татьяна-старшая. Татьяна же младшая шустрила недолго. После родов она устроилась на работу к «мужу» — в ЖК дворничихой, но поработала год или полтора. На медкомиссии обнаружили у неё какую-то болезнь и принялись усиленно лечить. Но не помогло. Татьяна растаяла быстро, не дожив до трёхлетия сына.

«Залечили, — вынесли приговор в посёлке. — Не сказали бы про болезнь — может, и сейчас бы жила...» После смерти жены, усилиями Васо Веселовых, от ЖК Володе выделили квартиру в новой двухэтажке. На удивление говорунам, в новую квартиру вместе с зятем и внуком въехала и Татьяна-старшая. Народ тут же стал судачить про «возвращение старой любви» и про то, что «любовь их продолжалась и при жизни Татьяны-младшей» и что «электрика надо бы судить за многожёнство». «Но мальчика жалко... — говорили сочувственно даже самые непримиримые борцы с нарушением семейной морали, одновременно вынося свой вердикт: — Пусть себе живут...» И уж совсем были сбиты с толку любители слухов и сплетен, когда некоторое время спустя в пустующую комнату Татьяны-старшей вселился Володя-электрик. Да не один, а с молодой маляршей. Электрик остался верен однажды выбранному им женскому имени: его новая жена тоже звалась Татьяной. А по посёлку пошёл — правда, не достоверный, — слух, что и мать Владимира зовут Татьяной. Так это или нет, никто особо справки не наводил. Володя был родом с левобережья, и о родителях его никто толком не знал. Видели, что приезжали двое пожилых людей к Татьяне-старшей после рождения внука, да самые глазастые и любопытные говорили, что замечали эту пару на похоронах младшей Татьяны.

Так это или нет, но мальчик рос у бабушки Тани, подрастая, ходил в гости к папе и мачехе тёте Тане, а на Пасху или на Родительский день ходил с бабушкой на погост — на могилку мамы Тани. Лет с пяти его стали называть Сыном Татьян. Так звали его все, кто знал: и в барачном посёлке, и в кирпичных двухэтажках, и во дворах появившихся позже на правом берегу Енисей-града панельных пятиэтажек. Наверное, только бабушка и отец

с мачехой знали его настоящее имя, да ещё учителя в школе окликали на уроках по записанной фамилии. Сын Татьян пошёл по стопам отца — стал электриком в ЖК правого берега.

Однажды его пригласила к себе на гору Кристя — подлатать старую проводку, протянуть новую и поставить счётчик электроэнергии. Сын Татьян поднялся на гору, сделал свою работу, поел Кристиных салатов, попил чаю, выпил что покрепче и, обратив внимание на троих странных мужиков, что во время работы помогали ему разматывать провода и подавали инструменты, решил познакомиться с ними ближе. Так Сын Татьян узнал трёх музытёров, а после даже подружился с ними.

Двадцать лет не спускаясь

На момент появления Дюмы-внука на Кристиной горе дружба между Сыном Татьян и тремя музытёрами была уже прочной. Сын Татьян один-два раза в неделю обязательно появлялся возле домика с баней, где его улыбочиво и радостно встречала музытёрная тройка, окружая и разбирая сигареты, конфеты и чай. Сама Кристя тоже была рада его появлениям, ожидаемым и неожиданным. А что плохого в том, что электропроводка будет ещё раз проверена, пошатывающиеся выключатели и розетки подкручены и укреплены? При том Сын Татьян никогда не отказывался ни от какой другой работы: летом помогал пропалывать грядки, осенью — собирать урожай, зимой чистил снег в ограде и колол вместе с музытёрами сосновые и берёзовые чурки, весной убирал территорию и готовил с Кристей участки под посадку овощей и картофеля. Кроме всего прочего, Сын Татьян, случалось, был единственным посетителем Кристиной горы за недельный, а то и двухнедельный период. Да, случалось, что, часто неотложно занятый, Дюма-внук по месяцу не показывался на глаза тёщи, а редко покидающий гору в весенне-летне-осенний сезон Ришелье-Решетулин, спустившись по сверхнеобходимости, нет-нет да прихватывал домой из расположенного по пути магазина бутылочку-другую водки и проводил некоторое время в иной реальности: с утра — похмеляясь, днём — распевая песни под питание и закуску, а к вечеру — непробудно засыпая до утра. В такое время Сын Татьян оставался единственным связным между Кристиной горой и остальным миром.

Тут надо сказать, что, несмотря на такие события, тётка Кристя не поддавалась на провокации. В период с двадцать первого марта (обязательный день заезда Кристи на гору своего имени) по шестое ноября (постоянный в году день отъезда её на квартиру в панельной пятиэтажке) она никогда не покидала своего поместья, а оставив его на зиму, обязательно раз пять-шесть в декабре-феврале вместе с Ришелье-Сильвером посещала владения, заставляя Дюму-внука штурмовать

на своём «Suzuki» скользкую гору над Медицинским переулкем.

Музытёры же не спускались совсем, зимуя в Кристином домике и выполняя работу и сторожей, и дворников, и истопников. По подсчётам Дюмы-внука, музтройка более двадцати лет безвылазно провела на Кристиной горе.

Сопоставляя условия их жизни, Дюма-внук иногда задавал себе вопрос: когда же этой троице живётся лучше—зимой или летом? Зимой они остаются на горе сами по себе и делают что хотят. Но зимой холодно, и хотят они, по лености своей, немногого: топить весь день печку и греться у неё, попивая чай. А иногда не только чай. Бывает, поднявшийся к ним зимой Сын Татьяна доставляет на гору музытёрам и выпить-закусить. И тогда они, бесконтрольные и пьяные, забывают убирать снег, колоть дрова и даже топить печку. А летом... Лето, конечно, есть лето. Летом не надо им кутаться по очереди в старую дублёнку Ришелье без одного рукава, носить просаленные телогрейки и потёртые спортивные шапочки. Зато летом Сын Татьяна ни водки, ни вина им не носит. Летом и он, и они—под полным надзором Кристи и Ришелье. Летом у музытёров всегда много работы, и летом они не принадлежат себе ни днём, ни ночью. Ночью особенно.

Тесть Решетулин рассказывал зятю Дюме, что музытёры первое время их жизни на горе укладывались на ночлег на веранде, подстилая под себя дублёнку и телогрейки. Засыпали они быстро, но и так же быстро начинали храпеть. Причём захрапывала музытёрская троица почти одновременно и «давала храпака» синхронно, но на разные лады. Храп, доносившийся через закрытую дверь, мешал спать чуткой, ранимой хозяйке дачного домика. Бедной Кристе приходилось слушать тёплыми летними ночами и протяжные с псовистом, и глубоко похрюкивающие, и пошлёпывающе-губные, и даже переливно-песенные храпы. Когда храпение становилось невыносимым, Кристя толкала в бок посапывающего рядом Ришелье и отправляла его «на заглушку». Поначалу дядя Коля Решёткин обращался с музытёрами ласково: осторожно потряхивал каждого спящего за плечо, предлагая «вернуться на бочок». Храпуны поворачивались и вроде бы засыпали, но едва Ришелье отходил к своей кровати, переливы, похрюкивание и невыносимое для Кристи губошлёпство возобновлялись. Кристя отправляла мужа обратно, и тот снова, присев среди спящих, тормошил храпящих. Надо отдать должное: Ришелье-Решетулин был терпелив. Иногда по два—два с половиной часа вёл он неравную борьбу: один бывший сержант-гвардеец против тройки музытёров. Конечно же, трое побеждали одного. И, бывало, не выспавшийся ночью Зарешеченный кимарил днём. Нет-нет да и сама Кристя на часок-другой иногда ложилась

подремать после обеда. Получалось, что трое побеждали двоих. И побеждённые, хотели этого или нет, проигрывая ночные бои, озлоблялись на своих невольных соперников, и, по наущению жены, Ришелье-Сильвер, выходя ночами на храпящую троицу, стал вооружаться сначала тапком-шлёпанцем, а потом и зимним, с толстой подошвой, мужским сапогом. Толчки в бочок заменились на удары по спине, плечам и ягодицам— сначала лёгкие, потом средней тяжести и, наконец, хлётко-резкие. Ночные бои между бывшим гвардейцем и музытёрами продолжались несколько недель, перерастая в откровенные побоища. Самый смекалесткий из музытёров, Порос, начал применять тактику отползания. После первого же шлепка он накрывал голову телогрейкой, отползал подальше— в угол веранды— и на какое-то время затихал. Оброс же и Опрокис выводов не делали: поворачивались со спины на бок, умудряясь громко втягивать и выдыхать воздух и в таком положении. Ситуация с каждым новым наступлением ночи накалялась, и однажды перед рассветом произошёл взрыв. Самой короткой июньской ночью на очередной размашистый удар сапогом Опрокис ответил Сильверу-Ришелье громким дуновением отработанного в нём газа. Дядя Коля Решёткин, сражённый резким запахом, потерял равновесие и, как раненный в бою, завалился набок. На глазах бывшего гвардейца выступили слёзы, и он, прикрывая ладонью лицо, задыхаясь и покашливая, пополз к двери— за глотком свежего воздуха.

Эта июньская ночь оказалась последней в весенне-летне-осенних сезонах, проведённой музытёрами в горизонтальном положении. В последующие годы только зимой и только в отсутствие Кристи и Ришелье они спали лёжа. Семь же с половиной месяцев в году музытёры коротали в здоровенном старинном шифоньере высотой в два метра двадцать сантиметров, длиной в один метр шестьдесят семь сантиметров и шириной в девяносто три сантиметра. Этот шифоньер был доставлен на гору до появления на ней Дюмы-внука, но размеры его впервые были установлены и оглашены для всех зятем тётки Кристи. Вот в этот шифоньер, сотворённый, видимо, ещё в бытность Дюма-отца, и поместил Ришелье, по совету соседа по фамилии Монсардин, трёх музытёров. Монсардин тридцать лет служил надзирателем в городской тюрьме и кое-что знал о методах по борьбе с храпунами. По его подсказке Ришелье-Зарешеченный прикрутил стальной проволокой к перекладине для одежды три берёзовых палки, надел на них поизносившиеся тулупы, выменянные за овощи у того же бывшего тюремного служаки, и стал каждый вечер, между двадцатью двумя и двадцатью тремя часами по местному времени, загонять по одному в шифоньер музытёров. А чтобы кто-то из них за ночь не выпал, запикивал каждого в рукава

тулупов, застёгивая овчинные кафтаны на все пуговицы.

По воспоминаниям Ришелье, только первую ночь музытёры стучали ногами и кричали, что задыхаются. На следующий же день, чтобы бедолагам действительно дышалось легче, Сильвер-Зарешеченный просверлил ручной дрелью несколько отверстий по периметру в задней стенке, отодвинув шифоньер от стены в глубь веранды на семь сантиметров. Сразу или нет научились музытёры спать стоя и кто из них приспособился к новым условиям лучше, а кто мучился дольше, они впечатлениями ни с кем не делились, зато храпеть перестали сразу. Правда, случались поначалу с ними на новой ночёвке естественно-потребные конфузы, особенно с Опрокисом, но неуклонный Ришелье, подбадриваемый соседом Монсардиным, стал запрещать им пить чай после двадцати часов, а перед заключением в шифоньер контролировал лично хождение каждого из них до отхожего места.

Вот так жили музытёры на Кристиной горе, двадцать лет не спускаясь ни на улицы Енисейграда, ни даже к переулку под горой, называемому Медицинским и соединяющему две большие улицы правого берега Енисей-града. За двадцать лет горной жизни они десятки раз встречали поднимавшихся на гору и провожали спускающихся с горы хозяев и сотни раз—их многочисленных гостей. Больше всех гостей приводил и привозил Дюма-внук. Только за последний десяток лет Кристину гору посетили сто, а то и сто пятьдесят приятелей хозяйкиного зятя. Некоторых музытёры видели всего по одному разу, и они им не запомнились. Другие появлялись раза по два-три за сезон, чтобы попариться в баньке, и тогда музтроица готовила дрова, и носила воду в предбанник. На памяти Оброса, Пороса и Опрокиса Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат был на даче три раза. И все три посещения им Кристиной горы оказывались памятными не только для всех, кто там в это время был. Самый первый подъём на гору этого приятеля Дюмы-внука состоялся в мае конца девяностых годов и был связан с железной банной печкой. Дюма-внук, в то время ещё не имеющий «Suzuki», заказал на заводе сельхозмашин определённого размера печь, а когда она была готова, попросил у редактора «Ниву», чтобы отвести на гору. С ним вызвался в помощники предприимчивый спецкорреспондент—будущий Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат. Печку тогда привезли, установили и даже затопили, а мероприятие обмыли тремя бутылками водки. Причём выпить, в порядке исключения, налили и музытёрам. А потом, когда Дюма-внук пошёл проводить хмельного приятеля вниз с горы до ближайшей автобусной остановки, а Решетулин с Кристей прилегли отдохнуть, копающие грядки музытёры увидели, что баня полыхнула изнутри.

Баню тогда спасли: прибежали соседи, стали поливать водой из вёдер и тазиков и вспыхнувший огонь залили ещё до возвращения на гору Дюмы-внука. Погорело немного стенка между моечно-парочным отделением и предбанником. Как выяснил потом Ришелье, огонь вырвался из зазора между печкой и трубой и пошёл по сухому брусу. Печку переставили на другой же день и в целях безопасности обложили часть стены огнеупорным кирпичом. Зазорам тоже шансов не оставили. Баня больше не горела, и года через три Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, снова взобравшись на гору по приглашению Дюмы-внука, даже попарился в ней. Второе пришествие Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата запомнилось музытёрам ещё больше. Мало того, что они носили ему воду из стекающего с гор ручья, спускаясь и поднимаясь на шестьдесят три метра, так он ещё оказался любителем грибов и погнал всех, включая Ришелье и Кристю, в лес. Грибов тогда толком не набрали, а вот под град попали. В прямом смысле. Откуда тогда, в погожий денёк конца августа, появилась вдруг эта туча, вначале не предвещавшая ничего серьёзного, никто не мог взять в толк. Но тучка вдруг прикрыла солнышко и давай пулять снежными камешками. Пуляла недолго—меньше десяти минут, а потом снова выглянуло солнце, но грибники были уже побитыми и мокрыми. Досталось всем. Никто не успел добежать во время градовой атаки до домика. Потом все отогревались в баньке, собранные грибочки пожарили—досталось всем помаленьку, и вроде бы всё закончилось благополучно, но выяснилось, что не совсем. Второй визит Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата на Кристину гору имел последствия: наслушавшись рассказов Дюмы-внука и Ришелье о дачной их жизни, он взял да и сочинил книжку. Книжка вышла в ноябре. Это была повесть, и называлась она «Дюма-внук и бичи». В ней были такие главы: «Приют бичей», «Воспитание бичей», «Как бичи спасали баню», «Бичи и грибы», «Избиение бичей», «Заговор бичей», «Месть бичей» и «Изгнание бичей».

Эту белую книжечку-тетрадку в мягкой обложке принёс на гору Сын Татьян, когда Кристя и Ришелье уже съехали на зимнюю квартиру. Он читал её вслух музытёрам, подливая в пластиковые стаканчики водку, пил и хохотал. Музытёрам же было не до смеха. Оброс, Порос и Опрокис, узнавшие себя в образах бичей, были возмущены небылицами, что насочинял поднимавшийся к ним на гору литератор. По его книжке выходило, что они люди без роду и племени, ходили по дачам, просили милостыню и совершали мелкие кражи, пока не приютила их тётка Кристя. В «приюте для бичей», как назвал дачу на горе автор, все трое годами совершали непосильный труд только для того, чтобы заработать милость хозяев и похлёбку.

Измощённые и всегда угрюмые, они терпели побои от мужа хозяйки и особенно от её зятя, который придумал для них целую систему воспитания: заставлял каждый день носить воду, колоть дрова и ходить по грибы. В повести Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата герои-бичи не сдавались и по мере своих сил сопротивлялись злему року. Однажды они подожгли хозяйскую баню, а в другой раз в суп с грибами подбросили несколько поганок. Одну из поганок съел Дюма-внук. Как было написано в книжке: «Он отравился, но дуба не дал, а, промыв желудок водкой, побил бичей. В этот раз — оторванной от ограды штакетиной». По повести выходило, что бичи, зализывая раны (так и было написано: «зализывая собственные раны»), сговорились отомстить хозяйкиному зятю и, улучив момент, сняли с его «Suzuki» три колеса, продав два из них барыге-соседу. Производство заканчивалось тем, что совсем озверелый Дюма-внук, размахивая своими длинными ногами в красных кроссовках и непроданным колесом в руках, совершил изгнание бичей с горы на улицы Енисей-града. Якобы он пинкарями без передыху гнал их с вершины горы до её основания, по бездорожью, вдоль ручья (одна тысяча девятьсот двадцать четыре метра), и бил колесом по головам отстающих.

Сын Татьяна хохотал как умалишённый, иногда бросал книгу на стол, обнимал себя за плечи и, заливаясь дурным смехом, раскачивал под собой табуретку. Троица музытёров с мрачным видом, молча опустошая водку из стаканчиков, смотрела на его веселье. В эти минуты громкого чтения они ненавидели своего благодетеля-поставщика, и все трое как один желали, чтобы ножки табурета под Сыном Татьян треснули и сложились и он бы рухнул, ударившись головой об стол, а ещё лучше — затылком о печку. Частично мечты музытёров сбылись: дочитывая последнюю главу, чтец не удержался на качающейся табуретке и упал, продолжая хохотать в лежачем положении. Табуретка не сломалась, и он не ушибся. Может быть, и к лучшему: позже он сходил ещё за двумя бутылками водки, чем немного скрасил печаль музытёров.

В большой печали после прочтения книжки пребывал и сам Дюма-внук. Чего-чего, а такого произведения-поклёпа от приятеля, почти друга, он не ожидал.

— И что ему наша дача поперёк встала? — спрашивал зятя дядя Коля Решёткин. — И баню-парилку для него организовали, и парился от души, и мамочкины олады хвалил, и грибы для него собирали-жарили. И на тебе: мы ещё и рабовладельцы — бичей в рабов превратили бесправных...

Крестя же от известия слегла. Обложившись таблетками, настоями и отварами, обвязав голову полотенцем, она лежала в полутёмной спальне,

ожидавая приезда к ней с часу на час следователя прокуратуры, а то и самого прокурора Свердловского района, и причитала:

— Не надо было их в шифоньер сажать, ну и пусть бы храпели себе... Я уже и привыкла.

И вправду, временами она вспоминала о храпе музытёров как о врачующей душевную рану музыке и кричала Ришелье:

— Сходи посмотри в почтовый ящик — может, нам уже повестку в суд принесли...

Но так длилось недолго: дня два, может, три. Ни прокурор, ни следователь к ней не пришли, и повестку из суда не прислали. Шоковая волна прошла, но на семейном совете, где присутствовали не бывавшие много лет на горе мать и дочь Кристи, было принято постановление: «Запретить Без Пяти Минут Нобелевскому Лауреату посещение Кристиной горы». Зятю же тёща строго наказала не иметь никаких отношений и даже разговоров с этим, как она выразилась, «горюшкой-литератором».

Дюма-внук и сам, без наказа второй мамы, сразу же по прочтении книжки был настроен порвать все отношения с бывшим спецкором, но обстоятельство вскоре сложились так, что...

Невзрачная на вид книжечка с маркой обложкой про Дюму-внука и бичей неожиданно для многих не только стала очень популярной в Енисей-граде, но и нашла читателей по многим городам и сёлам Сибири — Восточной и Западной. Книжку дублировали на сканерах, распечатывали на принтерах, множили на ксероксах. Изданные первым тиражом на страх и риск сто экземпляров разобрали за три дня и потребовали от издателя и автора ещё. Не удовлетворился читательский спрос на книжку и после второго издания — в три сотни экземпляров. Потребовалось третье — в пятьсот. Когда за неделю разлетелось и пять сотен штук, издатель рискнул на тысячу — и не прогадал: до Нового года не осталось ничего и от четвёртого издания. Более того, накануне встречи главного праздника года состоялась в краевой библиотеке внеплановая читательская конференция, где её участники — читатели и библиотекари — сочинили обращение к автору с требованием «немедленно создать продолжение повести». Автор уговаривать себя не заставил и уже в начале февраля принёс издателю рукопись повести «Возвращение бичей», которая сразу же была принята в производство и вышла в середине последнего зимнего месяца тиражом в полторы тысячи экземпляров, уже в цветной, правда, снова не твёрдой, обложке, с иллюстрациями. Выход книжки ознаменовался публикациями в нескольких городских и краевых газетах материалов о тех, кто послужил прообразами героев повестей Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата. В двух газетах были помещены фотографии Кристиной дачи, а в одной — даже фото троих музытёров. Оброса, Пороса и Опрокиса

Монтя Кристин

бойкий фотокорреспондент заснял, когда они разгребали уже побуревший снег во дворе дачи. Был там в то время и Сын Татьян, но, увидев человека с фотоаппаратом, он спрятался за баню и в объектив не вошёл.

Новая книжка Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата имела ещё один шумный успех и ещё дважды переиздавалась, что сыграло свою роль: Кристино семейство на ближайшем же собрании пересмотрело дело в отношении к литератору. На очередном семейном совете он был реабилитирован и снова приглашён в баньку. Приглашением Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат воспользовался в июле следующего года, когда приехал из столицы со своей новой книжкой, а в основном бору, что слева и чуть выше Кристиной дачи, пошли первые маслята. И снова все обитатели Кристиной дачи вышли как один за грибами, и снова музытёры, уже не обижавшиеся на литератора, корячились—носили воду с ручья и кололи дрова, и снова после бани все ели жареные маслята под водку. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат рассказывал всем про то, что написал новые повести и в очередной его книжке героями станут люди редких профессий.

— Представляете,—говорил он громко, сидя за столиком на веранде и подняв вверх пластиковый стакан с водкой,—у меня там не фигурируют, а живут яркие образы. Один—санитар районного морга, другой—забойщик скота в деревне, третий—енисейградский истребитель тараканов.

— Да, это—круто!—подбадривал приятеля Дюма-внук.

— Да, да...—поддерживали его Кристя и Ришелье. — Я такую жизнь там нарисовал, что и классикам не снилась!—приподнимался из-за стола Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат.

— А я знаю: ты можешь, можешь...—соглашался с ним заранее ещё не читавший новых творений литератора Ришелье и предлагал всем выпить.

И снова, как два предыдущих раза, визит на гору Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата имел своё продолжение. На сей раз помывшийся и напаренный в бане Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, отдававший грибов и салатов, придя домой, свалился вдруг от резких желудочных болей и был госпитализирован с диагнозом «кишечная спайка». В тот же день его прооперировали в железнодорожной больнице Енисей-града.

Почти две недели лежал Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат в больнице, а Дюма-внук носил приятелю кефир и минеральную воду без газа. Дюма-внук и забрал его, беспомощного, из лечебницы и отвёз домой на своём, тогда только что купленном, «Suzuki», а когда тот немного оклемался, проводил на вокзал, помог сесть в московский поезд. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат поехал за новой своей книгой.

Увидев «Suzuki», музытёры замерли, словно охраняя вход у заколоченных несколько лет назад ворот лыжной базы. Трое бородатых длинноволосых мужиков в одинаковых оранжевых футболках: начинающий лысеть Оброс—с берёзовым дрыном, отливающий сединой Опрокис—с топориком наизготовку, чёрный как смоль Порос—с пилой-ножовкой, подбоченившийся и выступивший вперёд.

— Бить будете?—пошутил Дюма-внук, подходя к ним и то глядя себе под ноги, то целясь в музытёров через объектив фотоаппарата.

Оброс и Опрокис заулыбались, показывая, что они рады видеть хозяйкиного зятя; Порос же ещё выше поднял голову и тоже якобы пошутил:

— Пока нет, а там посмотрим...

— Ну-ну...—произнёс Дюма-внук, остановившись в пяти-шести шагах от музытёров и дважды нажав на спуск фотоаппарата.

— Нас за сухачом отправили,—сказал самый общительный из троицы—Опрокис.—Ищем тут сухие берёзки.

— Что им там, опять дров мало?—спросил скорее себя, чем музытёров, Дюма-внук, имея в виду Кристю и Ришелье.—Месяца не прошло, как натаскали целую поленицу, за баней сложили.

— Кристя говорит, надо тоненьких и сухеньких, как для шашлыков,—опять пояснил Опрокис.

— Монтя, что ли, на гору забрался?—предположил Дюма-внук.—Для него баню топить собираются?

— Монтя!—пробасил Порос.—Ишо не пришёл, позвонил Кристе тока... Часов в пять будет... Надо, чтоб к пяти баня готова была.

— Мы тут уже насобирали кучку. Может, увезёшь на гору?—попросил Оброс.—Всё равно тебе туда, а нам ещё воду носить...

— Ладно...—кивнул Дюма-внук, фотографируя уже, наверное, в сто второй раз в своей жизни закрытые ворота бывшей лыжной базы.—Ташите к машине.

Пока музытёры грузились дровами, Дюма-внук открыл багажник «Suzuki», положил на коврик в развёрнутом виде два местных глянцевого журнала, что всегда по шесть-семь экземпляров возил с собой, и только тогда разрешил подошедшим к машине с охапками дров заготовителям: — Складывайте свои палки.

Когда музытёры аккуратно сложили уже порубленные и напиленные до нужного размера тонкие сухие берёзовые стволы, Дюма-внук едва закрыл багажник «Suzuki».

— Ещё будете собирать?—спросил он Пороса.—Этого же на пять растопок хватит...

— На пять не хватит...—вздыхнул толстяк, достав из кармана спортивных штанов кисет с лично выращенным им на Кристиных грядках, заготовленным и высушенным на банной завалинке

табаком.— Сам знаешь: летом сухая берёзка горит как порох... Сейчас покурим и поищем ещё.

— Вам лучше знать, — Дюма-внук прицелился объективом фотоаппарата выше лыжной базы — на возвышающуюся над лесом, тянувшуюся к облакам заострённой вершиной скалу. — Ну, вы тут курите, — сказал он Поросу, сделав за все свои путешествия сюда уже, наверное, трёхсотый снимок вершины, — а мне вас ждать некогда. Вот ты, — он показал на Опрокиса, — поедешь со мной, дрова разгрузишь. Остальным — Чикаго!

— Чикаго! — повторили один за другим Оброс и Порос, а Опрокис, улыбаясь, побежал к машине.

Прежде чем открыть дверцу музытёру, Дюма-внук, не снимая с себя фотоаппарата, положил на сиденье рядом с собой, обложкой кверху, глянцевого журнал и убрал футляр с объективом в бардачок машины.

— Едем молча, без эмоций, — сказал Дюма-внук, едва Опрокис уселся на журнал и закрыл за собой дверцу. — Мне тут немного поразмыслить нужно, понял?

— Понял, понял! — закивал Опрокис и сложил руки на коленях.

— Значит, Монтя пожалует, — произнёс Дюма-внук, включая зажигание авто.

Опрокис, помня наставление хозяйкиного зятя, лишь кивнул.

— Монтя... — проговорил Дюма, приводя «Suzuki» в движение.

Тот, кого все на горе называли Монтя, а некоторые, подчёркивая, — Монтя Кристин, был неунывающим человеком возрастом под шестьдесят. Невысокий шатен, с небольшой, отливающей сединой бородкой и усами.

«Задрипаный интеллигент», — говорил о нём Ришелье. Ни он, ни Дюма-внук этого Монтю не жаловали. Хотя именно Дюма-внук привёз его однажды на гору, представив автором профсоюзной газеты.

Авторов в профгазете было немало, штатных и внештатных, и ни Кристя с Ришелье, ни музытёры не удивлялись, что некоторых из них, преследуя свои интересы, приглашал на дачу Дюма-внук. Непременно с застольем и баней. Хозяйка с хозяином не возражали. Одним они и сами были рады и с неподдельным гостеприимством приветствовали, других, бывало, встречали насторожённо и с оглядкой на Дюму-внука, но к большинству взобравшихся с зятем на гору оставались равнодушными. Казалось, даже не запоминали ни их лиц, ни имён-фамилий.

Дюма-внук познакомился с Монтей в политехническом институте, куда поехал по заданию редактора сфотографировать мужика, читающего там лекции по философии и иногда пишущего статьи в их газету.

— Ему скоро диссертацию защищать; может, профессором станет, так что портретик его нам может пригодиться, — сказал редактор профгазеты.

Хотя и назвал редактор преподавателя мужиком, Дюма-внук, едва взглянув на лектора-философа, отметил, что на простолоудина он не похож. Этот «ещё не профессор» быстро расположил фотографа к себе, встретив его шутками-прибаутками в пустой аудитории вуза. С улыбкой и ироническими репликами реагировал он на приказы встать у доски, присесть за столом, взять в руки очки или учебник. («В профиль и анфас — восемнадцать раз», «С книжкой под мышкой», «За столом и у доски, крупно — скулы и виски!», «Сверху, снизу и с торца — запечатлели молодца!») — вот эти прибаутки из многих, сказанных тогда преподавателем философии, запомнились фотографу особенно, и он потом не один раз сам повторял их вслух, располагая для фотосъёмки мужчин и женщин.)

Когда Дюма закончил фотопробы, философ неожиданно позвал его к себе в гости:

— Я тут рядом, в Студгородочке, живу. Зайдём, кофе попьем с коньячком?

Фотокорреспондент на кофе зашёл, но от коньяка отказался, сославшись на припаркованный к ограде вуза «Suzuki».

— Мне баранку ещё крутить, — развёл руками он.

Однокомнатная, как выразился сам хозяин, «квартирка» живущего в одиночестве преподавателя философии произвела впечатление на гостя. Паркетный пол, облицованные под красное дерево и «под лак» стены и потолок, целая стена книг и сувениры из Вьетнама, Кубы, Болгарии и других стран, где бывал преподаватель, вызвали у Дюму-внука восторг. Восторг — как позже сделал вывод сам Дюма-внук, только лишь в первые часы их знакомства, — вызвал и сам хозяин квартиры.

— Веришь, друг, — говорил гостю философ, — я живу легко, не напрягаюсь, никому не завидую. Единственное, чего порой не хватает, так это деревенского воздуха. С возрастом начинаешь понимать, что большой город — это каменный мешок с разбавленным кислородом. Хочется иногда до зуда в леса, в луга, в поля! В баньке с веничком попариться, выскочить нагишом, облиться из ведра холодной водой — и снова в парилку!

И Дюма-внук организовал философу поездку на Кристину дачу. Конечно же, приглашая на тещину гору нового знакомого, фотокорреспондент и думать не мог, что этот сладкоголосый преподаватель политеха так запудрит мозги его второй матушке, что она будет готова ради него на большие и даже смелые поступки.

Когда Дюма объявил Кристе и Ришелье, что привезёт преподавателя политехнического института, как бы в шутку назвав его «профессором», Решетулин только усмехнулся:

— Ну, профессора у нас ещё не было...

А Кристя вдруг неожиданно заволновалась: — Да чем мы его тут угощать будем? Он, наверное, икру привокать есть, устрицы, отбивных всякие... — Да нормально всё,—махнул Дюма-внук.— Не надо ему отбивных. В бане попарится, выпьет нашей настоечки, салом закусит... Ещё крошки можно сделать...

И Кристя наготовила эмалированное ведро крошки, выбрала кусок сала с прослойкой, нарежала его тоненькими пластиками, вымыла несколько помидорок, огурчиков, редисок и вместе с укропом уложила их на большую плоскую тарелку.

Она не могла понять, почему её так взволновало известие о приезде человека, которого она ни разу не видела и о котором услышала лишь накануне. Ни один из гостей зятя, побывавших здесь, не смущал так её ранее. Весь день в ожидании гостя она не могла сосредоточиться. Дважды чуть не оступилась на крыльце: когда спускалась по ступенькам и когда поднималась потом. Уронила лейку с водой на грядку с помидорами. Ударилась плечом о косяк, когда заходила в баню (чего с ней никогда не случалось). Без надобности ворчала на Ришелье-Решетулина, чтобы он лучше глядел за музытёрами. Несколько раз сталкивалась во дворе с шустрившим между домом и баней Опрокисом, прикрикнув на него: «Куда летишь сломя голову?!» — и: «Глаза разуй, оглоед бестолковый!» Когда же под вечер увидела поднимающийся на гору зятев «Suzuki», у неё не на шутку поднялось давление, подскочила температура.

— Я в дом пойду,— сказала она мужу,— прилягу, а ты встречай. Потом выйду.

Из домика, уже лёжа на кровати, она слышала голоса зятя и мужа, потом восклицание гостя: — Да тут рай прямо неземной! И дом, и баня, и лес за огородом! Меняю остаток жизни на десять лет у вас!

Слова «профессора» заставили Кристю подняться, ноги сами понесли её к двери, и, не понимая в ту минуту зачем, она выскочила на крыльцо и сразу же увидела лицо гостя. Не баню, не огород, не музытёров, выстроенных в ряд перед ней, не мужа и зятя, не даже фигуру человека с бородкой и усами, а только его лицо. Взгляды их встретились и остановились в полуполёте прежде, чем они рассмотрели друг друга. Именно в тот момент, в тот миг, в то мгновение, в ту секунду в жизнь, в мысли и, видимо, в чувства Кристи вошёл этот небольшого роста седеющий человек.

— А это, видимо, сама хозяйка! — воскликнул он, когда взгляды их переплелись, и предвкушения необыкновенного уже выпорхнули из груди обоих, чтобы в образе двух синичек, неожиданно появившихся из-за дома, защebetать, коснуться друг друга крылышками и умчатся ввысь. — Дозвольте погостить некоторое время? — простёр к ней руки гость.

— Проходите, давно ждём,— скрывая смущение, пригласила Кристя гостя. — Стол накрыт на веранде. Веди, зятёк! — кивнула она Дюме-внуку, замершему вместе с Ришелье-Решетулиным у калитки. — Прошу,— вышел из оцепенения Дюма-внук, указывая на крыльцо «тогда ещё не профессору».

«Ещё не профессор» потёр ладони, улыбнулся и, в ладно сидящих на нём вельветовых брюках чёрного цвета и лёгкой бирюзовой футболке с открытым воротничком, с видом генерала в мундире с орденами и эполетами, прошёл мимо строя музытёров к крыльцу, навстречу Кристе.

Ну а дальше, насколько помнил Дюма-внук, всё случилось просто и как бы само собой. «Тогда ещё не профессор», усаженный на старый диван между Дюмой-зятём и Ришелье-мужем, выпил Кристиной настойки «на черноплодной рябине», с аппетитом похлебал крошки, умял несколько кусочков сала, нахваливая его прослоечку и аромат, похрустывая редиской, порассуждал о преимуществах сельской жизни против городской и, то ли умышленно, то ли и вправду без умысла, после третьей рюмки вдруг понёс и понёс свою философию.

— Нет ничего случайного ни в нашем мире, ни во всей Вселенной,— говорил он с блеском в глазах, при этом лоб его, нос и не закрытая щетиной часть лица отливали розовым блеском. — Вот Земля наша, планета — она же просто подвешена. В принципе, ни на чём висит и держится на месте, не убегает никуда за счёт сил, притягивающих её к Солнцу и другим планетам. И не сталкивается с планетами, и не падает на Солнце. Вы думаете, случайно? — как бы спрашивал гость, обращая свой взор в основном через стол и стоявшую на нём закуску к хозяйке. — Конечно, нет! Нет, нет и нет! Как не случайны структура и состав нашей атмосферы. Кажется, пальцем можно проткнуть всё небо, но она, эта тонкая, как мы думаем, атмосфера наша, защищает нас от губительных лучей Солнца, от смертельного космического холода, от комет и метеоритов. Горят они, космические пришельцы эти, синим и красным пламенем, едва входят в нашу атмосферу, не долетая до поверхности Земли. А какой и упадёт, обгорелый и оплавленный, то всё больше в пустыню, тайгу или океан — туда, где нет городов и посёлков. Где нет людей! Думаете, и это случайно? Нет. Всё продумано идеально! Каждый зверёк, каждая птичка, каждый жучок-паучок, едва появившись на нашей планете, в этом мире, уже знают, что им нужно делать, знают о своём предназначении. Мы с вами не знаем, а они знают! А мы знаем уже, что есть в природе и двух-, и трёхмерные измерения, а значит, надо полагать, существуют и другие: четырёх-, пяти-, восьми-, шестнадцатимерные миры. И они не где-то в далёких просторах Вселенной находятся, хотя и там тоже, — они, можно догадаться, вот

здесь, рядом с нами! Может, даже и наверняка, на месте вашей дачи в другом—восьмимерном или двадцатичетырёхмерном—измерении что-то стоит другое: город, которого мы представить даже себе не можем, горы или океан, но не такие, какие мы привыкли видеть, а не вмещающиеся в наше сознание!

Поражённая Крестя с первых минут монолога-лекции гостя попала под обаяние его слов, а особенно интонаций, с которыми они произносились, и слушала, не мигая и не дыша, положив руки на стол и забыв обо всём на свете. Дюманук, сидевший рядом, слева от гостя, внимал его словам, успевая при этом на ощупь цеплять сало на вилку и отправлять себе в рот. Находившийся же справа от преподавателя Ришелье, покркивая, качал головой, подливал в рюмки настойку и подкладывал гостю на тарелку редиску и огурцы, показывая всем видом, что хотя он тоже удивлён услышанным, но полностью согласен.

Именно Ришелье вывел хозяйку из оцепенения: поймав паузу в речи гостя-лектора, он предложил всем выпить ещё по рюмочке. Крестя тут же соскочила и оказалась рядом с гостем. Оттеснив зятя, она подлила в тарелку преподавателя два черпачка крошки и как бы невзначай спросила его: — А в личной жизни у вас как: жена, дети?

Гость-преподаватель-лектор выпил, закусил крошкой, отодвинул пустую тарелку и, взяв руки Крестии в свои вместе с черпаком, глядя ей в лицо, сказал:

— А личную жизнь, вернее, семейную, которая, как я понял, вас и интересует, я пытался устроить минимум четырежды.

Крестя снова замерла, на этот раз в ожидании его исповеди, разглядывая его лицо.

— Первая, как водится, ранняя любовь моя, если можно назвать то увлечение любовью, сгорела быстро, — начал он, оправдывая её надежды. — Она, эта Надя-Надюшка из нашего двора, не дождалась меня из армии. Вышла замуж за приезжего. Я, конечно, как все молодые, вначале страдать начал, жить даже, помнится, не хотел. Но как только их вместе увидел, всё прошло сразу. Смотрю, а она какая-то совсем чужая, какая-то уже незнакомая мне будто... В общем, понял, что напридумывал себе любовь, которой и не было даже. А ведь жениться хотел... А оно к лучшему: как бы жизнь покатила, дождалась она меня? Не знаю. А так я в институт поступил, много нового для себя открыл, с людьми интересными познакомился...

— А в другие разы как было? — спросила Крестя, перебивая гостя, сама удивляясь своей бесцеремонности.

— В другие — ещё проще, — вздохнул «тогда ещё не профессор». — В другие уже не было той лирики, того любовного сумасшествия, как в первый раз. Помотала меня жизнь, дорогая хозяйюшка;

я и Сибирь всю объездил и поперёк, и вдоль. Мне и в Казахстане, и на Урале, и в столице нашей Родины жить приходилось. И везде женщины попадались хорошие. Мне только хорошие всегда попадались и попадают, — подчеркнул он. — Одна врачом была, другая в культуре чиновницей — на смотры ездила, третья, как ваш зять, корреспондентом в газете. Хороши все по-своему были, и всё вроде бы складывалось вначале с каждой очень даже хорошо... Казалось каждый раз: всё, это навсегда. Нашёл! Нашли мы друг друга, каждый свою половинку! Но что-то потом расстраивалось... Корреспондентка, конечно, Мария, не подарок была: и курила, и ругалась матом, как мужик, но любила меня, без сомнения! В ресторанах ей нравилось ужинать. Не я её в рестораны водил, а она меня! Мария! Закажет коньяка, водки, вина, закусок разных, и сидим там, говорим чёрт знает о чём! Ни о чём! Или танцуем медленные танцы! А домой уже за полночь на такси. На такси — по ночной Москве! Интересно было жить! А потом появился откуда-то бывший её муж. Не было, не было — и вдруг объявился! Года через полтора, как мы познакомились. У них вначале разборки начались по телефону, потом встречи. Сначала короткие, потом длинные. Иногда с утра и до утра. И я понял: всё, моё время в её жизни прошло... — Вот так сразу — прошло и всё? — удивилась Крестя.

— Ну, может, не сразу, а после второго или третьего раза, когда она ночевать не пришла домой, — сказал «ещё не профессор». Взгляд его был задумчив. — Когда живёшь в доме женщины и она не приходит ночевать в собственный дом — поверьте мне, ощущение не из приятных... И потом, надо было знать Марию. А зная обстоятельства, при которых мы познакомились, можно, поверьте мне, делать такие выводы. Если она моё общество предпочла другому, даже бывшему мужу, — значит, надо делать вывод. И я сделал. Мария была у меня после Людмилы. А Людмила, как я говорил, работала в культуре... Судьба тогда закинула меня на Урал. Город большой, областной. Я преподавал в педагогическом институте. Познакомились, когда меня направили в жюри городского фестиваля студенческих театров. И она в жюри была. Пригласил её в кафе после фестиваля, а она меня потом — к себе домой. Ну и остался там у неё. Так понравилась сразу друг другу, что тут же всё и решили. В первый вечер. У неё, правда, оказался сын-школьник. Но сначала ладили и с ним. Она рано уезжала на работу, позавтракать даже не успевала, а я завтрак себе и сынишке готовил. В школу пацана тоже собирал. И на ужины мне приходилось кашу варить. Я прихожу, а Мишка уже дома — есть хочет, кастрюли открывает-закрывает. Людмилы ещё нет. Она часто по области ездила с инспекцией, по городам и посёлкам. Ну, я то гречки с тушёной

сделаю, то рисовой каши на молочке, а то и перловки наварю. Я каши с детства варил: во вторую смену учился, а мать на обед приходила—я её кашей кормил. Наверное, с Людмилой мы из-за её частых отлучек и расстались. Около года прожили, а потом вдруг поняли: чужие мы друг другу всё же. Да и сынок её как-то быстро за этот год подрос—не заметили, стал ревновать мать ко мне. Четырнадцать лет ему уже было, когда расстались. А мы всё равно бы расстались: может не так, как получилось, но расстались бы, я не сомневаюсь. Очень мы разные с ней были. А расстались очень уж просто: Мария в командировку из Москвы прилетела. Ректора нашего награждали премией какой-то престижной, и она от столичной прессы, вместе с делегацией,—специально к нам. Помню, после торжественной части ректор пригласил всех в ресторан. Мы рядом оказались, за одним столиком. Можно сказать, что она прямо из ресторана в Москву меня и перетащила.

— Сразу оттуда и поехали?—спросила, не отводя от рассказчика глаз, Крестя.

— Да, почти,—ответил гость-рассказчик, благодарно кивнув Ришелье, наполнившему его рюмку настойкой.—Она улетела, а я неделю увольнялся ещё из института, а потом к ней поехал.

— А Людмила же как? Она что сказала?—поинтересовалась Крестя.

— Ты дай человеку выпить!—подал вдруг голос Ришелье.—Путь выпьет, закусит, потом доскажет.

Крестя сверкнула на мужа зрячками, но, освободив свои руки из рук гостя и положив черпачок на стол, первая взяла рюмку:

— Давайте.

Она выпила, закусила помидоркой, снова схватилась за черпачок и подлила гостю окрошки.

Гость, выпив, кивнул на этот раз ей и отправил в рот несколько ложек похлёбки.

— А что Людмила? Людмила приняла мой уход как уже неизбежный,—сказал он.—Мы уже были как чужие... Да и Мария уже задурела мне голову...

— А врачиха которая? Она потом была?..—Кресте уже хотелось знать всё о личной жизни того, кого она ожидала с трепетом в сердце.

— Врачиха? Катюшка?..—произнёс «ещё не профессор», откинувшись на спинку дивана.—Катюшка...—повторил он распевно.—Катерина Борисовна—это отдельный рассказ...

Кандидат в профессора оглядел окружающих его: Дюма и Ришелье перестали жевать и, как Крестя, с интересом ожидали продолжения его рассказа. И «почти профессор» не обманул их надежд.—Катерине, пожалуй, одной из всех женщин, что встречались на моём пути, удалось на какое-то время убедить меня, что любовь на свете есть,—сказал он, вначале неспешно, вспоминая, видимо, что-то приятное из своей жизни, улыбнулся, но тут же сделал лицо суровым.—Была...

Мне и тридцати-то не стукнуло, а она на три года постарше была, когда мы познакомились. Врач-терапевт в поликлинике. Бельнская такая, вся прямо такая живая, всё везде успевала. Я раньше всё по райцентрам, после окончания института, в школах сельских работал, а тут на олимпиаде среди преподавателей отличился, и меня в город позвали—в городскую школу, квартиру дали. И я взялся за работу, как выпускник, с желанием, ни от чего не отказывался. Дополнительные уроки—значит, дополнительные,—кандидат в профессора оглядел окружающих его людей ещё раз и сказал с уверенностью:—А мне нравилось и нравится, когда меня слушают. Раньше школьники, теперь студенты. У меня редко кто на уроках и на лекциях отвлекался и отвлекается, большинству интересно меня слушать, сидят—не шелохнутся даже. Бывает, что и уходить на перемену не хотят. Вот так. Если не верите—приглашаю, приезжайте на мои открытые лекции, увидите: стулья дополнительные в актовом зале заносят. А зал актовый в институте на триста мест рассчитан.

Дюма и Ришелье закивали: верим, верим. И «почти профессор» продолжил:

— Но я отвлёкся. В общем, и картошку копать я с желанием осенью с детишками ездил, и в детские лагеря летом. За здоровьем не следил никогда и сейчас не слежу, хотя надо бы уже... Простыл как-то—под дождь попал. Пришлось врача вызывать на дом, а потом в поликлинику идти. А Катерина—врач наш участковый. Познакомились в кабинете на приёме, разговорились. Сначала ничего такого: поговорили—и ладно, я пошёл таблетки пить, она других больных принимать осталась. А вот когда я за больничным листком пришёл через два дня, она мне целый список профилактический написала: что делать, чтобы не простудиться больше, и какие травы и настои пить, если вдруг появятся симптомы простуды. Список на двух страницах, да ещё с пояснениями к нему. «Когда же,—говорю ей,—я за всем этим услужу? Мне же работать надо». А она: «Хотите, я вас навещать на дому буду? Мы вместе профилактику простудных заболеваний проведём». Я был удивлён такой заботой. У меня после Надюхи никакой любви тогда больше не случилось. А Катерина мне сразу понравилась. А я—ей. Что надо ещё? У неё было неудачное замужество с приезжим на отработку медиком. Недолгое вроде. Я сильно не интересовался, мне и не надо было никаких подробностей. У меня свой опыт неудавшейся любви. Может, ещё и поэтому мы сблизились быстро. Катя у родителей жила, а потом ко мне перешла. Какая же она была сначала интересная! Как она меня любила! И готовить мне любила, и рубашки стирать-гладить! Прямо, бывало, ничего не надо—только дай ей, чтобы всё было выстирано и выглажено! А как петь любила!

Я в жизни до неё рта для пения не открывал—и то повёлся на её песни! Сядем, бывало, вечером на диване, она запоёт, затянет, как Стрельченко: «На Муромской дорожке стояли три сосны...» — что я хочу не хочу—и тоже: «Прощался со мной милый до будущей весны...» Соседи посмеивались: «Да у вас дуэт целый! Заслушались вчера. Пора вам на сцену». А она и на сцене пела. На День медицинского работника. На Восьмое марта. И хорошо у неё получалось. Многим нравилось. Я это видел. А она мне говорила, что только для меня одного поёт и меня одного любит. И приговаривала: «Люблю, люблю...» Ну прямо слов нет: душенька-Катюшенька. Когда я так её и называл, она улыбалась и ласково говорила: «Люблю только тебя, милый и единственный...» — и гладила меня по волосам своими мягкими, нежными руками. И массаж часто любила мне делать. Так было приятно, что я иногда засыпал даже.

Дюма и Ришелье продолжали сидеть, не отвлекаясь даже на выпивку и закуску, а у Кристи по правой щеке покатила слеза умиления. В открытые двери было видно, что все трое музыкантов присели на крыльце и тоже замерли, ожидая продолжение рассказа гостя.

— А потом я узнал, что она ласковая и нежная не только со мной,— лицо «ещё не профессора» стало совсем серьёзным,— и милый для неё не я один.

— Неужто?..— всхлинула поражённая его словами Крестя.

— Да уж!— воскликнул гость и снова закусил крошкой.— Может быть, ещё и до моего знакомства с нею, а может, и при мне уже, стал захаживать к ней в поликлинику один местный стихотворец. Везде, в каждом райцентре полно своих местных поэтов-самоучек. И этот из таких рифмоплётов. Он стал ей свои стихи предлагать, чтобы пела их, как песни, на концертах. Да не просто на листочках носил, а уговорил сходить её к музыканту—местному композитору, вместе подобрать музыку к стихам, а потом они, как я полагаю, все вместе ходили ещё и к аранжировщику, музыку записывать. Про рифмоплёта не знаю, а к музыкантам она уже точно при мне бегать стала. Я сначала значения не придавал. Ну, запела она вдруг какие-то странноватые песни, типа: «Я тебя обниму да крепко к сердцу прижму», «Ты меня отогрей, не держи у дверей». И музыка пошла с оттенками давно знакомых мелодий. Ладно, думаю, мне-то что? Человек создаёт свой репертуар, ищет себя в творчестве. Что в этом плохого? Пусть себе поёт что нравится, что на сердце ложится. Так, может быть, и жил бы себе в неведении: я вечерами—на занятиях в школе, она—на репетициях после поликлиники. А однажды коллега-приятель пригласил меня после работы в кафе. У него дочь родилась. Он позвал нас, нескольких преподавателей, отметить это событие, но все заняты вдруг оказались,

и так получилось, что мы с ним вдвоём пошли в это кафе. Сели скромненько в уголочке, заказали выпить-закусить. И только завели было разговор, гляжу—Катеринка моя с двумя мужиками в кафе заваливает. Весёлые, громко смеющиеся, садятся они по центру—ближе к сцене. Мужики за ней наперебой ухаживают, ручки целуют, коньяк, закуски предлагают. Это я к тому, что дома она не пила ни коньяка, ни водки, ни вина даже. Совсем не пила. А тут! И товарищ мой тоже их заметил. Да их все заметили! Рисовались они в открытую. Коллега на меня смотрит, а я готов провалиться: не знаю, что и сказать, а потом один из мужиков залез на сцену и объявил, что сейчас состоится премьера песни. Поставили они минусовку свою под магнитофон, и Катюха вышла и запела. Я любил, когда она пела, говорил вам, но тогда там, в кафе, было что-то непредставимо-невообразимое. Музыка—один в один под песню Раймонда Паулса «Листья жёлтые над городом кружатся», а слова другие, слова ужасные. Из той же серии: «про тебя и про меня». Типа: «Я тебя не пушу, я тебя не отдам. Все грехи я прощу, даже душу продам...» Караул кричать впору! Я не узнал своей Катюшеньки-душеньки. Выпили мы быстренько с коллегой, закусили и ушли. Я вперёд пошёл, а товарищ рассчитаться остался. Она же приехала домой ближе к полуночи, сделала вид, что удивилась, почему я не сплю ещё. Была навеселе, лезла обниматься, целовала, говорила, что была на репетиции, что репетиция задержалась—никак песня не получалась. Утром она рано ушла в поликлинику, а я сходил к директору школы, попросил его отпустить меня и сразу дать расчёт. Директор стал уговаривать, искать причину, чтобы удержать меня, но я его убедил. Получил деньги, трудовую книжку, собрал вещи и, не прощаясь, уехал вечерним поездом.

— А она как же?— прижав руки к груди вместе с черпаком, спросила Крестя.

— А я не знаю!—развёл руки рассказчик.—Она сделала свой выбор!

— Как-то всё у вас так просто...—Крестя поднялась и пошла к своему месту, напротив «ещё не профессора».—Сел—поехал, а что в душе у женщины, ему дела больше нет. Подумаешь—спела в кафе, а ему не сказала ничего... Может, потом бы всё рассказала...

Крестя присела на краешек табуретки. Взгляд её выражал недоумение. Недоумение было нарисовано и на лицах других участников застолья.

— Может быть, для вас, со стороны, всё просто кажется, а для меня не просто,—сбавив эмоций в голосе, сказал, словно уже оправдываясь, гость.—Я понял тогда одно: дальше в наших отношениях развития не будет. Лучше не будет. А если не будет лучше—значит, будет только хуже. У меня и потом, после того, непросто отношения с женщинами

складывались, хотя о любви, в романтическом её понимании, уже речи никогда больше не было. Так, мотания одни. Меня и по свету помотало, говорил я вам, пока не приземлился в Енисей-граде.

— Эх, Монтя ты, Монтя! — воскликнула, не в силах сдержаться, Крестя, давая понять и ему, и всем, что теперь она будет с ним только так — на «ты». — И что ж ты такой-то? А ещё профессор, умный... — Я ещё не профессор! — сказал он, ничуть не удивившись её обращению.

И тут наступил момент очень важный: народ, окружавший их, включая сидевших у крыльца музыгёров, замер в коротком раздумье. Подсознание каждого решало для себя, какой из вариантов для окрещения гостя выбрать: «ещё не профессор» или «Монтя»? И у всех, единогласно и единодушно, после коротких сомнений, победил вариант второй — наверное, потому, что состоял из одного слова. Второй момент, а может, он и первый и основной, тоже наступил после произнесённых тогда Крестей слов и реплики гостя. Тишина нескольких секунд, может минуты, на веранде Кристиного домика могла вылиться тогда и в «спасибо, до свидания!» со стороны обидевшегося «ещё не профессора» Монти, и в простое продолжение застолья со сменой темы разговора, — и тогда кто знает, появился ли бы Монтя ещё когда на Кристиной горе? Но тишина вылилась в неожиданное продолжение, даже в какой-то мере громкое.

Понимая, что это она своими вопросами расстроила гостя, Крестя вдруг сказала то, что рано или поздно, в принципе, сказала бы всё равно, но именно в тот момент, в то мгновение слова эти прозвучали по-особенному и стали основой сложившихся между ней и Монтей отношений на дальнейшие годы.

— У нас все гости моего зятя после застолья в баню ходят, — сказала хозяйка. — Баня готова, парилка кипит...

— Я хочу в баню, — кивнул гость. — Я и приехал сюда больше поэтому. Я ходил в баню общественную, и в свои бани меня люди приглашали, и в парилках парился, так что знаю, что к чему, в принципе. Правда, как в кино показывают: распариться, выбежать, холодной водой облиться, — не приходилось ни разу. Праздника хотелось душе и телу, а выходило как-то не совсем... Может, подходящей компании не было, а одному всё-таки не так...

— У нас всё так будет, — заверила Крестя. — К нам разные приезжают и парятся по-разному. Кто как хочет. Но ты-то гость особенный, должен особое отношение к себе почувствовать. Попарим тебя как надо. У меня отец был ох любитель париться. Не чета этим, хотя тоже хлещутся веничком — дай Бог, не слабаки, — Крестя кивнула на мужа и зятя. — Ну, кто за гостя возьмётся?

— Я, мамочка, чуть попозже бы... — пролепетал уже захмелевший Ришелье.

— Сиди уж, — махнула Крестя и глянула на зятя.

Дюма-внук дёрнулся, его повело, и он опустился снова на диван.

— Что вас так сегодня с настойки-то разморило? — удивилась Крестя и, глянув снова на гостя, решила. — Придётся мне самой. Пойдём?

— Пойдём, — согласился гость и поднялся.

Его не повело и даже не качнуло.

— В общем, так: сначала ошпариваем веник кипятком, запариваем его в тазике, а потом водой берёзовой на каменку лить будем — пару поддавать и голову мыть, вместо шампуней разных, — Крестя взяла «ещё не профессора» Монтю под руку, вывела на крыльцо. — Да я сама сейчас всё покажу-расскажу.

Едва Крестя с Монтей зашли в баню, Опрокис занёс в предбанник два ведра холодной воды и ещё с одним ведром встал у входа.

Тесть с зятем тем временем выпили ещё по рюмочке, закусили салом, съели по помидорке и, похрустывая огурчиками, заговорили о видах на урожай. Прежде чем они налили себе ещё по одной, из бани понеслись громкие возгласы.

— Это мама наша профессора твоего парить начала, — догадался Ришелье. — Щас она вышлет ему по нежной коже. Слышь, как заохал? Я тоже охал и стонал, когда она меня в первый раз охаживать веником стала.

Дюма-внук прислушался. Хлёстко-глухие шлепки веника о мякоть тела дошли до его уха, как и восклицания «ещё не профессора».

Шлепок — «ой!», шлепок — «ой!».

— Да что ты стонешь-то? Не режут же пока! — крикнула Крестя на Монтю.

— Так ведь больно... — ответил ей неузнаваемым голосом «ещё не профессор».

— Больно с непривычки. Но ты не ори, пой лучше.

— А что петь?

— Да что хочешь.

Разговор про пение, конечно же, если и был в бане, то негромкий, и, естественно, ни Дюма-зять, ни Ришелье-тесть, ни музыгёры-работники слышать его не могли. Дюма-внук потом сфантазировал подробности в своём воображении. Слова же из песен, что закричал, отвечая на удары веником, «ещё не профессор», вылетали из банного окошка и, пролетая через овощные насаждения, достигали веранды.

Сначала песни гостя-философа были патристические, с надрывом и громкой нарочитостью:

По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперёд, ой! —

Чтобы с боем взять Приморье —

Белой армии оплот. Ой!

После—русские народные, тоже громкие, но уже с чувством:

Эх, то не лёд трещит, не комар пищит,
Это кум до кумы судака тащит.
Ох, ох, ох, ох!
Ох, ох, ох, ох!

А потом и украинские, протяжно-душевные:

Ніч яка місячна, зоряна, ясна!
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, кохана, працю зморена,
Хоч на хвилиночку в га-а-ай.

Слова из песен долетели до Ришелье, когда он выпил вторую после отсутствия Кристи рюмку настойки, но не успел закусить.

— Чё они там делают?—спросил тесть зятя.

— Моются,—ответил зять, наливая настойки себе.—Парятся с песнями.

— Ничё себе...—Ришелье приподнялся.—Надо посмотреть. Пойдём посмотрим?

— Пойдём,—согласился Дюма-внук, выпив настойки.

— Ты этого профессора хорошо знаешь?—спросил снова Ришелье, когда Дюма-внук помог ему преодолеть ступеньки и они спустились с крыльца.

— Не очень,—сказал Дюма-внук, поддерживая тестя под руку.

— И я не очень...—высказал озабоченность Ришелье.

До бани они дойти не успели. Едва поравнялись со стоящими на тропинке Обросом и Поросом—песни стихли, дверь бани широко распахнулась, чуть не зашибив стоявшего возле неё Опрокиса, и Монтя, в вязаной шапочке Ришелье, напаренно-краснокожий, выскочил на волю, прикрывая веником пах. Выбежав на дощатый тротуарчик, ведущий меж грядок от бани к дому, он, не соображая, что ему делать дальше, остановился в метре от Дюмы-внука и Ришелье и замотал головой, озираясь, как упавший с неба на незнакомую местность. И тут Опрокис, выкрикнув своё протяжно-зычное: «Ы-ой-й-й!»), вылил на него сзади ведро холодной воды, обрызгав при этом мужа и зятя хозяйки. Выронив веник, Монтя оторопел на мгновение, но, быстро осознав своё обнажённое положение, развернулся и снова побежал в баню. А оттуда, в купальнике-бикини, своей вязаной шапочке и рукавицах-верхонках, вышла Кристия.

— Окатил его?—спросила она Опрокиса.

Тот кивнул, показав ей пустое ведро.

— Молодец!—похвалила его Кристия.—На первый раз хватит с него. Я пойду пока постелю ему на веранде—пусть отлежится. А вы,—она кивнула вытирающим ладонями лица мужу и зятю,—давайте вытаскивайте его и сами в баню. Хватит застольничать. Потом настойку допьёте.

Дюма и Ришелье накинули на Монтя простыню и с помощью Опрокиса проводили его до дивана.

Монтя тогда впервые ночевал на даче Кристи. Видел ли он погружение музыкёров в шифоньер, закат над лесом и утреннюю зарю на фоне бани, сказать никто, кроме него, сейчас не может. Полночи он стонал и охал, а Кристия отпаивала его квасом и кормила с ложечки овсянкой. Дюма-внук ничего этого не видел, так как уехал ночевать домой, на улицу имени газеты «Пионерская правда», но когда Ришелье ему рассказал, как было дело, он немало удивился поведению тёщи. То, что Кристия может быть заботливой до такой степени, для него было в диковинку.

На другой день Дюма-внук отвёз Монтя домой, в Студгородок, и ему казалось: всё, очередной его гость-клиент посетил тёщину дачу, и об этом визите можно лишь вспоминать иногда, а то и вовсе забыть, как о многих других. Но оказалось, что это посещение Монтей Кристиной горы открыло новую страницу в истории дачи. Оказалось, что Кристия и Монтя обменялись телефонами, и «почти профессор» ещё дважды в то лето, уже без участия и даже ведома Дюмы-внука, побывал на Кристиной горе, парился в бане и ночевал на веранде. Причём в те разы, как стало известно Дюме-внуку, Кристия, уже не церемонясь, до начала застолья загоняла гостя в баню и не только хлестала его веником, но и тёрла грубой мочалкой по спине, груди и, видимо, как догадывался Дюма-внук, по другим местам тела, заставляя при этом Опрокиса и Ришелье подавать в двери бани вёдра с холодной водой. Опрокис молча, а Ришелье—ворча себе под нос—выполняли команды хозяйки.

А зимой Монтя стал профессором. Защитил там что-то в своём политехе, потом ездил в столицу, как говорил, «утверждаться в профессорстве». Дважды, в феврале и марте, Дюма-внук возил Кристию на его открытые лекции в политехнический институт. И правда, актовый зал института оба раза был переполнен, и слушать «уже профессора» было интересно. Он не стоял, как другие лекторы, за кафедрой, а ходил по сцене и говорил складно и просто: о жизни, о взаимоотношениях людей, о дефиците общения и ещё о многом. На первой лекции были и Дюма-внук, и Ришелье. Дюма фотографировал лектора и слушателей, а Ришелье хоть и слушал с видимым интересом, но всё же заснул на втором часе. В другой раз Кристия мужа на лекции Монти-профессора не взяла, и Дюме-внуку одному пришлось быть и общественным фотографом, и личным шофёром, и собеседником своей второй мамы. Несколько раз зять заставлял «уже профессора» Монтя в гостях у тёщи с тестем в доме на Медицинском переулке и после этого уже не удивлялся его новым визитам на гору.

На следующий год на Кристиной горе начал незаметно, но настойчиво складываться культ

Монти. Или «Монтин культ», как охарактеризовал происходящее на горе Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, когда Дюма-внук рассказал ему о профессоре. Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат с несвойственной для него ехидцей улыбнулся и задал Дюме-внуку такой вопрос:

— А когда тёща профессора моет мочалкой, он сверху воронкой лежит или вверх фонтанчиком?

Дюма-внук, надо сказать, не растерялся и ответил литератору кратко и достойно:

— На бочине, а вот на правой или на левой, точно сказать не могу. Окошечко в бане маленькое — плохо видно, когда подглядываешь...

— Хорошо устроился этот Монтя, друг Кристин, — сказал тогда Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат.

И, видимо, он и был первым, кто назвал Монтю Кристиным. Видимо, потом Дюма-внук пару раз обронил сочетание этих слов на горе, а музыктеры, видимо, услышали и подхватили. Очень быстро, как заметили Дюма-внук и Ришелье, гость стал вести себя на даче по-хозяйски, а Кристя взялась ему потакать. Видимо, они сошлись быстро ещё и на подсознательном уровне, ибо, как Дюма-внук узнал, тёщин желанный гость тоже был не прочь раздать всем обитателям горы прозвища и клички. Музыктеры, к примеру, он всех вместе называл пузытьерами, а по отдельности: Оброса — Колончарой, Пороса — Бурундучарой, Опрокиса — Щегольком. Появившегося однажды в поле его зрения Сына Татьян Монтя назвал Сын-Татьяном. Дошли до Дюмы-внука слухи, что и его, и Ришелье Монтя тоже за глаза звал по-своему и почему-то на немецко-еврейский лад: Дюмбелем и Решельсоном.

С некоторых пор Дюма-внук старался не бывать на даче, когда там оказывался Монтя. Почти всегда это удавалось сделать без труда, потому как о новом визите Кристиного друга обычно становилось известно дня за два-три, а то и за неделю. Кристя преображалась, молодела лет на пятнадцать-семнадцать, весело гоняла по даче музыктеров-пузытьеров, отправляла раза по два в день в магазин Ришелье-Решельсона. Тот ворчал, но послушно спускался с горы в Медицинский переулок, а потом неспешно поднимался обратно. Но бывало, что и, сам не ожидая и не желая того, заставал Дюма-внук «уже профессора» на даче. Иногда даже во время его омовения. И он слышал то, чего никогда, наверное, не услышат от «уже профессора» его студенты или коллеги-преподаватели. То, что пел в бане профессор, когда Кристя его хлестала веником или натирала мочалкой, было переделкой слов известных песен.

Из банной парилки, бывало, несло:

Где же бутылочка? Где же ты, где?
Ах, не нашёл я тебя здесь нигде...
Там поискал я и там поискал,
Сел на коня и домой ускакал!

Или:

Травы, травы, травы не успели
Подрасти. Коровы их поели!
С горя пастухи опять нажрались,
А быки картоху есть подались!

И почти всё в этом роде. Монтя, либо сочиняя сам, либо перенимая у кого готовые строки, перекладывал смысл хороших песен на пошлые или с алкогольным уклоном.

Вначале музыктеры принимали его переделки весело и даже забавлялись, слушая, но когда Монтя задел их любимую песню, то переменили своё мнение.

Услышь меня ты, Манюшка,
Услышь меня, Паранюшка,
Услышь и ты, Татьянушка,
Я ваш, весь здесь — Иванушка!

Музыктеры вознегодовали, и их негодованию и возмущению не стало предела, когда они услышали от профессора откровенно издевательские его мурлыкания в их адрес:

А Оброс-брос-брос — барбос.
А Порос — опорос в покос.
Опрокис — прокис, кис-кис...
А Татъен, Татъен, Татъен —
Этой банды тоже член!

Или:

Жили-были пузытьеры —
Проходимцы-гастролеры.
Самый гадкий — Опрокиса:
Ел из миски вместе с киской.
Самый жуткий — Опороска:
С чашки бедного Барбоски.
Долговязый же Оброс
Сувал в норку к мышке нос.

Вознегодовал вначале, было дело, и Дюма-внук, когда донеслась до него из бани в Монтиной обработке его любимая мелодия:

Я люблю тебя до слёз,
Не храпи, как паровоз!
Не целуй меня ты в нос,
У тебя опять склероз!

Ну и за что было любить Монтю Кристина Дюме-внуку? Или Ришелье? Понятно, что не за что. Музыктеры же не любили его аж до ненависти. Они были постоянно «на взводе», когда приезжал к ним «любезный Кристин друг», готовясь выслушивать от профессора оскорбительные слова в свой адрес в рифму и без неё. Даже на их взгляд, привычных ко многому людей, поведение Монти казалось возмутительным. Их поражала и раздражала его бесцеремонность. Съев чашки три-четыре крошки или пару тарелок салату, Монтя, бывало, раз пять-шесть в течение вечера, с небольшими перебивками, оккупировал на целых полчаса нужник,

громко объявляя всем, что у него начинается выделение нефти и газа и он просит не зажигать вблизи огня, ибо «отхожее место может взлететь вместе с ним в небо и, как баллистическая ракета, улететь на другой континент».

— Может, в Африку, а может, и в Антарктиду,— говорил он, не понять—в шутку или серьёзно, и добавлял:— А может, и в Южную Америку.

Долгие оккупации нужника, конечно же, сказывались на состоянии здоровья других обитателей дачи. Особенно музыгёров, также любивших Кристины салаты и окрошки, и в частности—Опрокиса, страдавшего более других расстройствами желудка. Однажды не могущий уже терпеть музыгёр постучал в дверь туалета с целью поторопить Монтю и занять его место.

— Головой постучи—открою,— услышал он из-за двери и, собрав последние силы, перелез через штакетник, скрывшись в сосновом бору.

В бор, не ожидая вакансий на занятое место, шли и другие музыгёры, и, бывало, даже Ришелье и Дюма-внук.

Вот такой человек Монтя поднимался сегодня на гору над Медицинским переулком, и, естественно, Дюма-внук, поднимая туда же свой «Suzuki», задался целью сделать всё, чтобы не встретиться там с тёщиным гостем.

Дюма подогнал «Suzuki» к калитке и остановил так, чтобы Опрокису было удобнее заносить дрова. Он даже, прежде чем забрать мешок со сковородой и табуретками, открыл калитку настежь и подпёр её тремя кирпичами. Потом достал мешковину и, перехватив её за горловину, понёс к домику.

Тёща с тестем сидели на веранде и готовили окрошку. Кристия резала сваренную картошку, Ришелье—огурцы.

— Что, баню топить будете?—спросил, делая вид, что ничего не знает о сегодняшнем визите Монти, Дюма-внук.

— Будем,—ответила Кристия, продолжая мельчить картошку.—Приезжай вечером.

— Не получится сегодня. Съёмка допоздна. Дома в ванной помоюсь,—Дюма-внук положил мешковину на диван рядом с Ришелье и, пожав руку тестю, присел на табурет.—Табуретки и сковорода в мешке.

— Ладно,—кивнула Кристия.

— Ладно, ладно!—воскликнул Ришелье.—А мне опять одному тут с этим возиться?!

— Ладно, не рассыплешься!—повысила голос на него Кристия.—Он не каждый день у нас.

— Ещё бы каждый день!—встренулся Ришелье.— Мне один его день за год считать над!

Кристия выглянула в дверь веранды, увидела переносящего дрова Опрокиса.

— Чё он там делает?

— Да я тут березнячка вам привёз, для бани,—сказал Дюма-внук, взяв огурец со стола.—А эти там ещё у базы готовы.

Кристия кивнула.

— Вчера тут забредал Чудила твой. Поддавший... Как всегда, тебя искал,—сказала она, продолжая работу.—Наверное, добавить хотел. Я не предлагала.

— И правильно,—одобрил Дюма-внук, похрустывая огурцом.—Я сегодня к нему еду. Там у них большое совещание в Академгородке. Много фотографировать придётся.

— Завтра хоть приедешь?—спросил с надеждой в голосе Ришелье.

— Постараюсь, если к вечеру только.

Ришелье понимающе кивнул.

Дюма-внук не стал задерживаться на даче. Едва Опрокис закончил разгрузку дров, он вынул багажник, взял со стола с собой три огурца, сложив их в пакетик, и, сказав тёще с тестем: «Чикаго!»—неторопливо направил свой «Suzuki» вниз, обратно к Медицинскому переулку.

Всё к одному

Спускаясь к городским улицам, Дюма-внук сообщал, как ему лучше добраться до левого берега, минуя большие автомобильные загоры, что нередки в Енисей-граде и в первой половине, и в конце будничных дней недели. Решил ехать по второму коммунальному мосту и через Северный район. Его беспокоил подъём на гору Чудилы. Если он вчера крепко выпил, то сегодня, вместо того чтобы сосредоточиться на совещании учёных, будет искать, где похмелиться.

Репортёр Сергей Чудило (в простонародье—Серый Чудила)—ещё один из постоянных, хотя несчастных гостей Кристиной дачи. Сейчас ему немногим за пятьдесят, но Дюма-внук помнит времена, когда Чудиле не было и сорока и чудил он гораздо больше и резвее. Самой «коронной фишкой» его (выражение Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата) было то, что он на протяжении двенадцати лет никак не мог найти от полутора до трёх тысяч рублей, чтобы начать издание научной газеты. С самого первого дня, как Дюма-внук увидел и услышал Чудило, тот, едва поздоровавшись с кем бы то ни было, начинал говорить о своём грандиозном проекте, «объединившем в одном издании все научные силы Енисей-града».

— Полторы тысячи каких-то не хватает, веришь? Макет разработал, материалы есть, зарегистрировать только осталось и выпустить сигнальный номер.

При Дюме—и, как полагает Дюма-внук, без его участия тоже—некоторые сердобольные коллеги-репортёры проникались сочувствием, раскошелившись и подавали Серому Чудиле от ста

до пятисот рублей, после чего тот быстро выпал из компании и появлялся на журналистских тусовках дня через два-три, снова рассказывая каждому встречному о своём проекте и называя недостающую сумму, на этот раз уже в две или две с половиной тысячи рублей.

Несколько раз Дюма-внук, в компании с другими репортёрами, бывал в командировках с Чудилой. И заметил то, чему постоянно потом удивлялся. На больших мероприятиях Серый Чудила не бегал, как другие, с диктофоном, не приставал с интервью к известным людям, даже не делал пометок в блокнотах, а был всегда там, где намечался банкет или уже подавали спиртное. Он первым надирался до одури, первым уходил в отключку, и казалось всем окружающим его, что Серый не способен сделать никакого материала для газеты. Однако однажды в гостиничном номере Дюма-внук увидел, проснувшись глубокой ночью по нужде, что Серый Чудила сидит за столом у настольной лампы и пишет. Утром, когда репортёры суетливо собирались по домам, Чудила искал денег на опохмелку.

— Да у меня всё уже готово, — сказал он в то утро Дюма-внуку. — Приеду и сразу сдам материал. А сейчас похмелиться мне надо.

Похмелился или нет тогда Серый, Дюма-внук не помнит, скорее — да, но то, что уже через день материал Чудилы на целую страницу со снимками Дюмы-внука вышел в одной из известных газет Енисей-града, Дюма-внук запомнил и больше в способностях Чудилы Серого не сомневался. Не сомневались, видимо, в умении Сергея Чудило выдавать быстрые материалы редакторы крупных и средних енисейградских газет. Некоторых из них, правда, смущало стремление Серого на ответственных мероприятиях больше думать о банкетах, чем о сборе материала для статей и репортажей, и они старались иметь с ним дело только в самых крайних случаях, когда материал был очень уж нужен, а добыть его мог только Чудила. Но Серый Чудила давно знал, с кем из редакторов можно общаться, что называется, «в лёгкую», а с кем и вовсе лучше не сотрудничать, и шёл на контакт со вторыми, когда жизнь его сильно уж поджимала и деваться ему было некуда — только к таким на поклон и идти. Дюме-внуку тоже не всё нравилось в поведении Чудилы. Хотя он и смирился с тем, что тот постоянно просит у него займы денег и не всегда отдаёт, но его коробило, когда Чудила паниковал по поводу фотографий, которых Дюма-внук не мог по каким-то причинам выдать в день их совместной работы. Если такое случалось, то Серый Чудила уже на следующее утро начинал приставать ко всем знакомым фотографам, спрашивая подряд каждого, не запил ли Внучок. То, что несостоявшийся редактор научной газеты называл Дюму-внука за его

спиной просто Внучком, фотокорреспонденту было неприятно, но он смирился и с этим, приглашал Серого Чудилу на гору, занимал ему денег, приносил выпить и закусь и принимал приглашения репортёра осветить в краевой прессе то или иное событие из жизни учёных. Вот и сегодня Дюма-внук приглашение от Чудилы на научную конференцию в Академгородке принял. Он готовился фотографировать с запасом, чтобы Серый мог потом растолкать снимки по редакциям. Намеченное на сегодня мероприятие грозило вылиться в событие межрегионального значения, а потому ожидалось на нём немало корреспондентов газет и журналов различного уровня, как местных, так и приезжих. Грозился появиться там и ещё один нередкий гость Кристиной горы — Дрюша Опанас, по прозвищу Потёртый Гарик.

Дрюша, как и Серый, сколько его знал Дюма-внук, был вольным репортёром. То есть Опанас, как и Чудила, несколько раз принимался на правах штатного корреспондента в различные газеты Енисей-града (в том числе и в «Профгазету»), но по разным причинам долго там не задерживался. Впрочем, «разные причины» только на взгляд самого Дрюши тянули на уважительные, для увольняющих же его без сожаления редакторов причина отпуска корреспондента на вольные хлеба была одна: систематическая неявка на работу. Отговорки Дрюши: «Садил-копал картошку», «Сидел с больной матерью», «Не смог приехать из-за поломки автотранспорта», — на редакционных начальников не действовали. Руководители редакционных коллективов делали свои безжалостные по отношению к нему выводы и снова в штат уже не брали. Большую часть своей сознательной жизни Дрюша Опанас работал за штатом, выполняя одноразовые задания или предлагая редакциям уже готовый материал, сделанный им по собственной инициативе.

Небольшого роста, с молодых лет седой как лунь, в очках с круглой оправой, в свой первый подъём на гору он напомнил Кристе виденного ею по телевизору мальчика из британской сказки про волшебников, и она назвала его Гариком. Дрюша-Гарик на гору зачастил, и, видя такое дело, Кристя иногда заставляла пособить его в заготовке дров для бани. Такие предложения она делала только часто бывающим гостям. И большинство с покорностью выполняли просьбы хозяйки горы. И Гарик тоже, не ропща, брался за дело и тянул с бора вместе с музытёрами в ограду разные валежины, при этом потя как никто. Пот выступал на спине, и вскоре Гарик становился весь мокрым и солёным. Когда потный Гарик замечал, что пора менять рубашку, он останавливал работу, заходил на веранду и просил у Кристи или Ришелье квасу. Пил он жадно, ковша по два, по три за раз, а потом

сидел на диване минут двадцать и рассказывал истории из жизни енисейградских репортёров, при этом часто к месту и не к месту приговаривая: «А понты колотят-то, понты! Одни понты, больше ничего! Каждый из себя что-то гнёт и корчит, а на деле — понты получают». Заканчивая работу, Гарик обязательно заходил попить квасу ещё и тут, тоже обязательно, непременно каждый раз обнаруживал, что натёр ладони до пузыристых мозолей, а ноги чуть выше пяток — до мозолей сухих и даже кровавых. И Кристе каждый раз приходилось с ним возиться: подавать ему бинты и пластырь, зелёнку или йод.

Происшествия эти, естественно не могли остаться на горе не замеченными и не подмеченными остроловной хозяйкой, и Гарик вскоре получил от неё приставку, озвученную Дюме-внуку из уст Ришелье: Потёртый. Гарик Потёртый, или, как чаще говорили теперь на горе, Потёртый Гарик, может быть, и обижался на хозяйку за прозвище, но никогда вслух обид ни Кристе, ни Дюме-внуку не высказывал. Не говорил он ничего и когда слышал, что музытёры меж собой называют его Гариком-очкариком, а обнаглевший профессор Монтя — Гарри Гариманом или Беспонтовым Гариком.

Дюма-внук удачно проскочил на своём «Suzuki» второй коммунальный мост, не попав ни в один затор, и выехал на главную улицу Северного района. По пути он миновал череду автобусных остановок: «Планета», «Континент», «Весёлая страна», «Чудо-город», «1-й микрорайон», «Улица 1 Мая», «Дом Куропаткина», — затем свернул вправо и вниз и, пересекая поочерёдно Четвёртую Брянскую, Третью Брянскую, Вторую Брянскую, оказался на Первой Брянской улице, а потом и на Калининском проспекте. Дальше, сделал кружок в районе Северо-Западном, прокатился по бойким улочкам Высотной, Широтной и Низовой. Ну и, наконец, добрался до Академгородка.

Конференция сибирских учёных проходила в актовом зале Института физики Солнца, и тусовку репортёров возле первого корпуса он увидел метров за двести. Дюма-внук припарковал «Suzuki» рядом с «Волгой» редактора «Профгазеты», повесил на шею фотоаппарат, объектив, закрыл дверцу авто и пошёл искать Чудилу.

Серый Чудила ждал его возле проходной. Рядом с ним уже был Потёртый Гарик.

— Я сделал вам обоим пропуска, — сказал Чудила, протягивая Дюме-внуку бейджик с ленточкой на его имя. — Будете меня до конца жизни благодарить.

— Мы ещё его благодарить должны, — проворчал Гарик, покручивая уже надетую на шею такую же карточку. — Не понтуйся, Серый, уже. Пойдём, скоро начало.

— Вам лишь бы идти, — буркнул Чудила. — Мне похмелиться надо, буфет открыли. На разлив сто граммов взять можно.

— Потом возьмёшь, когда закончим, — сказал ему Дюма-внук. — С утра вредно.

— А займёшь на двести грамм? — спросил его мрачно Серый.

— После совещания, после, после... На двести граммов и пончик.

Дюма-внук первым шагнул к охраннику, предъявив ему бейдж. Гарик и Чудила пошли за ним.

Для Дюмы-внука это мероприятие было обычным. Он не чувствовал разницы между собранием спортсменов, коммунальщиков или учёных. Условием было: фотографировать как можно больше, а пишущий корреспондент или редактор разберутся, что ставить в номер, а что отложить, — он щёлкал, не переставая, ещё до начала официальной части. После появления цифровой фототехники жизнь Дюмы-внука и его коллег облегчилась процентов на семьдесят семь. Не надо было больше заботиться о плёнке, фотобумаге, искать время на проявку и печать. Коллеги-фотографы обычно скидывали отснятый материал на месте на свободные компьютеры, каковых было немало на крупных мероприятиях, а репортёры перекачивали их на свои флеш-накопители. Если сбросить сразу не получалось, Дюма-внук отправлял фотографии по электронной почте из дома, предварительно отсмотрев и отобрав. Вот и сегодня он начал фотографировать в фойе незнакомых ему людей по отдельности и группами. Гарик крутился рядом. То и дело включая диктофон, он потел, задавая вопросы учёным мужам. Когда началась конференция, Дюма-внук, вместе с другими фоторепортёрами, ходил возле сцены и по залу, ловя в объектив крупные планы. В перерыве он сообщил Серому, что отснял достаточно и поедет домой, а к вечеру отправит ему фотографии по электронке. Глаза у Чудилы уже поблёскивали, он улыбался Дюме-внуку, Потёртому Гарик и всем остальным, казалось, не внимая словам фотокорреспондента, но когда тот двинул к выходу, живо напомнил про упомянутые накануне двести граммов. Дюма отдал ему сто рублей и пошёл к своей машине. Гарик последовал за ним.

— Ты через центр едешь? — спросил Потёртый Гарик, догнав Дюму-внука на крыльце института.

— А тебе куда?

— Довезёшь до Славы Пионерова?

— Поехали, — подумав с полминуты, согласился Дюма-внук.

Слава Пионеров, в былые времена самый частый гость на Кристиной горе, достоин отдельного представления. Закончив то же профессиональное училище, что и Дюма-внук, Слава начинал трудовую деятельность салонным фотографом.

До перестройки делал фотографии на документы в левобережном Доме быта, принимал заказы от школ и детских садов, фотографируя малышей и воспитателей, школьников и учителей группой и в одиночку. Когда же фотосалоны в Енисей-граде стали угасать, а газеты открываться, Слава, как и некоторые его коллеги, решил попробовать себя в новом деле. Через Дюму-внука и при участии Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата он получил протекцию и прошёл фотокорреспондентскую школу в печатных органах аграриев и дорожников, закрепившись на несколько лет в многотиражке речников. Речникам он стал своим и бывал почти на всех заседаниях Клуба речных капитанов, куда пускали даже не каждого речника, не говоря уже о репортажах.

Лично Дюма-внук считал Славу Пионерова особенным в том плане, что тот единственный из его коллег-друзей, посещавших Кристину гору, быстро нашёл общий язык сначала с тестем, а потом и с тёщей. При первом же знакомстве Слава стал звать Ришелье «батей», а со второго захода — Кристю словом «мать».

Надо сказать, что до первого подъёма Славы на гору Ришелье, слыша от зятя в разговоре с Кристей то и дело вырывающиеся слова: «Слава Пионеров... Слава Пионеров», — не сразу понял, что речь идёт о конкретном человеке, а потому спросил Дюму-внука, немало развеселив его этим: — А ты о славе каких пионеров говоришь? Всей страны, нашего города, правого берега или Свердловского района только?

Дюма-внук оторопел, ему в голову не приходило, что имя и фамилия приятеля могут восприняться кем-то не как имя и фамилия, а по-другому.

— С политическим уклоном, — сформулировал Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат, когда Дюма-внук поведал приятелю ещё одну байку-историю с Кристиной горы.

Кристе, до появления на горе Монти, более других приятелей зятя импонировал именно Слава Пионеров. Его-то она никогда не заставляла ни таскать из лесу валежины, ни складывать в поленницу уже наколотые дрова. Наверное, потому, что Слава не только ел,пил и парился в бане, но и делился с Кристей и Ришелье советами по выращиванию овощей, постоянно подчёркивая крестьянское происхождение своих родителей. Надо сказать, что Слава говорил об овощах со знанием, некоторые советы Кристя брала на вооружение и, используя их однажды, затем применяла каждый сезон. А ещё Слава Пионеров любил показывать на практике, как надо запаривать чай со смородиновым листом, как делать по его рецепту салат из огурцов и белокочанной капусты, как обжаривать на сковороде тонко нарезанные помидоры. Эта потомственная любовь его к грядкам

и кухне и сыграла однажды решающую роль: Слава оставил работу фоторепортёра и открыл харчевню. Харчевня Славы Пионерова расположилась недалеко от площади Комсомольской в Советском районе Енисей-града. По совету Без Пяти Минут Нобелевского Лауреата, Слава назвал её «Литературной». Во-первых, как рассуждал писатель-литератор, заведений общепита с таким названием в городе нет, во-вторых, харчевен тоже, а в-третьих и в-четвёртых, если Слава начнёт подавать специфические блюда и обслуживать клиентов на новом уровне, популярность и успех предприятия гарантированы. Слава советам бывалого литератора внял. Никому неизвестно, на какие средства выкупил он одноэтажное здание бывшей трансформаторной будки недалеко от автобусной остановки, расширил его втрое, завёз необходимое оборудование, организовал место под стоянку автомобилей и прикрутил над входом большую вывеску: «Литературная харчевня Славы Пионерова». Чуть мельче у дверей в харчевню он вывесил расписание работы заведения, а на самой двери, на листочке формата А-4, — объявление: «Бесплатные комплексные обеды для членов Союза писателей и литературного клуба по средам с 15 до 20 часов». Следует добавить, что к обедам полагалось «за счёт заведения» на выбор либо двести граммов водки, либо сто граммов коньяка, либо кружка пива. Это обстоятельство не оставило равнодушным ни одного члена Союза писателей в Енисей-граде, и каждый из них, будь он поэтом, прозаиком или публицистом, посчитал своим долгом посетить хоть однажды «Литературную харчевню Славы Пионерова».

Как говорил сам Слава, он позвал в свою харчевню лучших поваров-кулинаров города, набрал, по личному отбору, опытных официанток, пригласил на доработку литературного консультанта из краевого Дома искусств. Литконсультант-эрудит по заданию Славы выискивал в художественных произведениях классиков русской и зарубежной литературы описания застолий и блюд. По большинству из найденных в романах, повестях, рассказах и поэмах рецептов и были приготовлены холодные и горячие закуски в «Литературной харчевне».

Но этим дело не ограничилось. Посетившие пару раз в «бесплатные среды» Славино заведение и отобедавшие там Без Пяти Минут Нобелевский Лауреат и Монтя дали владельцу харчевни советы, руководствуясь своим жизненным и кулинарным опытом. Свои дополнения постоянно вносили и бывавшие там почти каждую среду Потёртый Гарик и Серый Чудила. В результате чего в меню харчевни, помимо украинского борща «Тарас Бульба», белорусского салата «Олеся», грузинского мясного блюда в тесте «Дато батано», русской окрошки «Настасья Филипповна», появились

следующие деликатесы: «Золотые рога» — томлёные бараньи рога с домашней лапшой; «Поцелуй Чаниты» — запечённые оленьи губы в яблоках; «Серебряное копытце» — копчёные козы копыта с толчёной картошкой; «На Парнас» — отварной рис с подковками Пегаса; «Три поросёнка» — варёные свиные пяточки с горчицей; «Сон про белого бычка» — солёные уши молодых бычков с фасолью; «Братец Кролик» — кроличьи хвосты в маринаде с квашеной капустой; «Царь-рыба» — рыбы головы, фаршированные грибами; «Гуси-лебеди» — куриные или утиные гузки в томате или с майонезом. Особым спросом у некоторых посетителей Славиной харчевни пользовалось экзотическое блюдо «Седло слона» — здоровенный отварной кусок мясной мякоти полукруглой формы. Выносившие блюдо к заказчикам четверо крепких работников кухни называли его меж собой «Седлицем». Блюдо подавалось на широком подносе три на четыре метра, который закрывал собою весь стол. К «Седлицу» непременно подавались отдельно большая горка луковой обжарки «Копи Соломона», ведёрко ядрёной фирменной горчицы «Укрощение строптивой» и литровая банка густой сметаны «Мраморное море». Было здесь и разнообразие всяких морсов и некрепких напитков: «Травы луговые», «Белые росы», «Чанго-чанго», «Мистер Икс», «Принцесса цирка», «Бюрократ Бывалов».

При харчевне по средам и субботам действовал литературный клуб. Членом его мог стать любой человек, пишущий стихи или прозу, не обязательно на профессиональном уровне, просто пишущий в блокноте или даже собирающийся это делать. Стоило только заявить хозяину харчевни о своём желании и оплатить вступительный взнос. Слава выдавал заявившим и оплатившим специальные удостоверения членов литературного клуба с фотографиями, и они имели в харчевне такие же права, как и члены Союза писателей, то есть могли рассчитывать по средам на бесплатные комплексные обеды, на двести или сто граммов крепких напитков или на кружку пива. Члены клуба оказались активнее писателей и стали собираться в харчевне ещё и по субботам, презентуя там свои книжки или написанные стихи и рассказы. Слава бесплатных обедов по субботам не делал, но сходки литераторов поддерживал и даже выделял им отдельные «субботные столы». Более того, он присмотрел среди собирающихся двух активно пишущих дамочек и предложил им выступать со своими произведениями перед посетителями харчевни. Одна из литераторш, Лина Константинова, писала «сиротские» рассказы, а вторая, Нина Михайлова, была увлечена рифмовками на темы гороскопов и времён года. В Славином заведении она выступала с циклом стихов, посвящённых фирменным блюдам харчевни, бутылочным этикеткам и маркам вин, водок

и коньяков, подающихся к столам. Литераторши с энергией и большим желанием каждый день часов с шестнадцати, а то и с часа открытия появлялись в харчевне, приводили себя в порядок и в хорошее настроение в отведённых специально для них гримёрках, если надо, то переодевались и выходили в зал, нередко под аплодисменты завсегдатаев. Первой обычно вставала к микрофону Лина. Она начинала читать, что называется, с ходу, без подготовки и объявления. Героиней её рассказов всегда была девочка-сиротка Лена, попавшая после войны в детский дом. О её жизни, её открытии взрослого мира, её маленьких радостях и огорчениях и читала Лина посетителям харчевни, нисколько не мешая им наслаждаться фирменными и экзотическими кушаньями. Два-три небольших рассказа она прочитывала со сцены, а потом шла в зал. Её обязательно подзывали к какому-нибудь столику (не было дня или вечера, чтобы не подзывали) и просили почитать вполголоса ещё несколько историй. Частенько пожилые женщины в компании седых мужчин, растроганные до слёз рассказами о жизни маленькой Лены, подолгу держали литераторшу за своим столом. Литераторша Лина и не торопилась: она доставала из сумочки несколько книжек-брошюр, раскладывала их веером по столу, отодвигая при этом горячие блюда и холодные закуски, раскрывала одну из брошюр и начинала читать ещё. Чтение нередко заканчивалось задушевной беседой, угощением литераторши и покупкой её книги с неизменным автографом.

А на сцену, к микрофону, часто в импровизированном костюме, тем временем поднималась поэтесса Нина Михайлова. Читая стихи про русскую водку, она надевала красную косоворотку и картуз; представляя армянский коньяк, прикрепляла три звёздочки на груди и две, в виде короны, на голове; если дело касалось вин, Нина Михайлова выходила к залу в костюме виноградной лозы. С представлением блюд было проще: почти каждое из них в харчевне имело своё литературное название, и литераторша, изображая литературного героя, читала рифмовки про салаты, щи, заливные и морсы. На представлении блюд переодевание было необязательным, и поэтесса Нина говорила о них хотя и с пафосом, но без лишних волнений.

Джина не выпусти ты из бутылки,
«Капитанский джин» — не горилка.

Кто пробовал, тот знает:

У нас его не разбавляют.

.....

Это «Вермут розовый»,
А не сок берёзовый,
Выпьешь и не забалдеешь,
Может, чуточку вспотеешь.

.....

«Поэтическая котлета» —

У нас не только для поэта.
Отведать её может каждый,
Кто зашёл к нам хоть однажды.
.....

Про кофе наше «Пьер Безухов»
Много домислов и слухов.
А ты не бойся, употребляй,
Он не хуже, чем «Витязь-чай».

Такие и в таком же роде были почти все четверострочья Нины Михайловой. Ей, бывало, тоже аплодировали и тоже, случалось, подзывали к столу и просили автографы.

Славу такая слава литераторш устраивала, тем более что дамы делились с харчевней частью полученных ими от посетителей гонораров.

И ещё один член литературного клуба, как-то как бы сам по себе, стал постоянным работником Славиного заведения. По виду простой русский парень, с французским именем Серж и еврейской фамилией Котельман, рвался на первых порах читать стихи со сцены в обеденном зале, но опытный Слава Пионеров сначала устроил ему внутреннюю прослушку и оказался прав. То, что Серж Котельман сочинял, не годилось даже для декламации в пустом зале. Слава сам не был никогда в ладу с рифмой и стихотворным размером, но даже он, едва услышав первые две строки Котельмана, понял, что тот если и станет поэтом, то, скорее всего, при следующем земном воплощении. Но простой русский парень Серж Котельман не оставлял попыток пробиться на сцену и приходил каждый день за час, а то и за два до открытия харчевни, а уходил с последними кухонными рабочими. Иногда Слава думал: «А может, и не уходит он никуда, а ночует где-нибудь неподалёку или вовсе в нашей подсобке живёт?» Котельман помогал официанткам и техничкам двигать столы, переворачивать стулья, налаживал на кухне и в санузлах водопроводные и отопительные краны, ремонтировал выключатели. Видя такое рвение человека, Слава принял его в штат, поручив следить за сантехническим оборудованием и электрическими проводками. И ещё одну должность определил хозяин новому работнику — бескровного вышибалы. Вот где мог проявить себя как стихотворец Котельман, что называется, «на полную катушку»! Слава подсаживал Сергея к опустошившим свои карманы, но не торопящимся уходить посетителям, и тот читал им свои вирши. Через пять, от силы семь минут даже самые захмелевшие слушатели под воздействием монотонной читки трезвели от рифм Котельмана, поднимались из-за столов и кто быстрыми шагами, а кто медленно, но без оглядки шли в гардероб, а потом к выходу.

В общем, как считал Дюма-внук, дела у его друга Славы Пионеровой шли хорошо. А после

того как он увидел, что в «Литературной харчевне» ужинал сам краевой министр культуры, то сделал вывод: расцвет Славиного предприятия впереди. Сам Слава на жизнь никогда не жаловался и о трудностях своих не говорил. А трудности были: после того как начальник управления культуры края стал министром местной культуры, Слава сделал несколько попыток позвать его в харчевню. Наконец, через знакомых фоторепортёров, ему это удалось. Министр ужином остался доволен: взял на память несколько несъедобных подковок из фирменного блюда, оставил хвалебную запись в «Книге отзывов почётных гостей харчевни». А вот пришедший затем без приглашения его заместитель, из «новорусской» волны чиновников, был возмущён тем, что копытца коз в заливке оказались несъедобными. Он даже отказался их взять с собой в качестве сувенира, что делали все посетители, и пригрозил всей харчевне и Славе лично «многими неприятными часами и минутами». Мало кто знал из друзей Славы и посетителей харчевни, что две комиссии из представителей санитарных служб, пожарных, налоговиков («нагловиков», как их называли в харчевне) и даже литературных экспертов проверяли законность Славиного предприятия. Как узнал потом Слава, они приходили с намерением найти нарушения и закрыть харчевню. Что и как предпринимал Слава Пионеров, к кому ходил или звонил, но ни первая, ни вторая (более представительная) комиссия серьёзных нарушений, позволяющих закрыть его предприятие, не нашли. И харчевня осталась, сохранив свой полный штат. Более того, после проверок Слава замечал среди новых посетителей членов бывших комиссий.

Дюма-внук и Потёртый Гарик пробрались к «Литературной харчевне Славы Пионеровой» до начала вечерних городских автозаторов.

Слава был рад приезду гостей и пригласил их к себе в кабинет. Через минутку туда подали любимый Гариком кофе капучино и зелёный чай «Ахмат» для Дюмы-внука.

— Есть что будете? — спросил Слава друзей.

— Я — пас, — отказался сразу Дюма-внук, забросив в кружку с чаем четыре кусочка сахара-рафинада. — Меня Маргушка ждёт. Вчера обещал ей дорожку на улице выбить от пыли. Пока доеду, за вечерееет. — А я, пожалуй, если позволишь, до вечера останусь, — сказал Потёртый Гарик. — Выйду потом в зал, супчику какого-нибудь похлебаю, твоих поэтесс послушаю.

— Ладно, — разрешил ему Слава. — Тогда хоть давайте по мороженому съедим. Мы новый сорт разрабатываем, «Командор Седов» называется.

От мороженого друзья не отказались. Дюма-внук ел «Командора Седова», запивая «Ахматом» и слушая Славу Пионеровой. Слава планировал

пристроить к кафе гараж на два автомобиля и ввести услугу: развозить захмелевших клиентов харчевни по домам. Дюма-внук, ещё раз убедившись, что у Славы Пионерава широкая русская душа, попрощался с приятелями и направился к своему «Suzuki».

Принцесса Маргушка

Как ни старался Дюма-внук, попадания в заторы избежать не удалось. Дважды, пересекая улицы Ленина и Карла Макса, он двигался гусиным шагом, зажатый автомобилями. «Suzuki» ехал тише самых медленных пешеходов. В результате до улицы имени газеты «Пионерская правда» автомобиль Дюмы-внука добрался после двадцати часов.

«Вот и день очередной прошёл,— отметил с грустью фотокорреспондент.— Снова выбить дорожку не получится. Сейчас фотки надо срочно просмотреть на компе и Чудиле отправить, а то проспится и паниковать начнёт».

Но сесть за компьютер Дюма-внук сразу не смог. Он поставил автомобиль «Suzuki» в гараж, накинул на шею ремешки футляров фотоаппарата «Nikon» и объектива, закрыл ворота, проверил замки и не спеша направился к своему подъезду. Завернув во двор, увидел стоящую на балконе жену Маргариту.

— Привет, Маргуша! — крикнул ей, улыбаясь, Дюма-внук. — Чайник ставь, я иду!

— Не торопись,— ответила Маргарита. — Чай попить успеешь ещё, а пока на-ка, лучше прими вот...

Она подняла на перила балкона скатанную в рулон дорожку и, не дожидаясь реакции мужа, столкнула вниз.

Скатанная ковровая дорожка, слегка развернувшись одним концом, бухнулась на асфальт. Следом полетела с балкона большая пластмассовая хлопушка.

— Ну ты чё, блин?! — только и воскликнул Дюма-внук, не ожидая от Маргариты такого.

Он свернул дорожку снова в рулон, поднял, закинул на левое плечо, подхватил хлопушку и пошёл в сторону детской площадки, к турнику.

Маргариту Маргушкой звал не только он. Читаящему эту повесть с начала нетрудно догадаться, что так впервые назвала дочь Крестя. Назвала в раннем, даже в младенческом возрасте. И не потому, что дочь её часто моргала (тогда была бы Моргушка), а потому, что при рождении назвали её Маргаритой. Крестя неустанно подчёркивала всем, что дочь её именно Маргарита, а не Рита, считая (и, наверное, небезосновательно), что Маргарита и Рита — хоть созвучные, но всё же разные имена. А раз дочь её была Маргарита, то Крестя брала на себя смелость называть её в уменьшительном варианте — Марго, а в уменьшительно-ласкательном — Маргушка. Естественно, так называли Маргариту

только самые близкие ей люди, а если точнее, то только мать её Крестя и муж её Дюма-внук.

Маргушка-Маргарита от рождения имела королевские замашки: до школы любила, когда её одевали мать или бабушка; в школьные годы ей нравилось, когда отец покупал для неё что-то такое, чего не было у соседских детей и одноклассниц; потом, став повзрослее, испытывала наслаждение оттого, что вся семья ждала её к столу, не начиная без неё завтрак, ужин или праздничный обед. Наконец, она позволяла мужу возить её на «Suzuki» одну, а при посадке в автомобиль открывать широко дверцу и сдвигать переднее сиденье двухдверного авто до упора вперёд, освобождая ей проход. А вот дачу своих родителей она не выносила, не терпела копаться на грядках и, в отличие от Крестя, не увлекалась ни садоводством, ни цветоводством. С детских сознательных лет Маргушка старалась как можно реже бывать на Крестиной горе, а когда вышла замуж, то и вовсе забыла, когда в последний раз Дюма-внук поднимал её на Крестину гору. Не было необходимости. Дюма-внук работал на даче за себя и за неё и привозил оттуда, без её участия, ей овощи и клубнику.

А ещё в тесном семейном кругу, куда входили ещё её бабушка и отец, Маргариту-Маргушку называли принцессой. Возможно, для Дюмы-внука она и была его королевой, но в компании Крестя он не осмеливался так звать жену. Королевой на горе и в жизни близких безоговорочно была только Крестя. Маргуша тоже признавала мать своей королевой и безропотно была согласна на роль семейной принцессы.

Дюма-внук выколотил дорожку, снял её с турника, скатал в рулон на теннисном столе и, прежде чем забросить рулон на плечо, взял со стола фотоаппарат и объектив, которые снимал с шеи на время работы с дорожкой. Надев обратно фотопринадлежности, Дюма-внук подкинул рулон на правое плечо.

Принцесса Маргушка ждала его у подъезда. Она открыла перед мужем дверь.

— Борщ сварила? — спросил Дюма-внук жену, вступая в полумрак подъезда.

— Борщ твой тоже подождёт, сначала в ванную нырнёшь,—скомандовала принцесса.— А то покрылся пылью, как бронтозавр, пропотел весь!

— Я после в ванную схожу, сначала мне фотографии пересмотреть надо и Серому скинуть. Он там с ума уже, наверное, сходит, ждёт,— попытался возразить и объяснить Дюма-внук.

— Подождёт твой Серый Чудила! Сначала — в ванную! — не стерпела возражения Дюмы-внука принцесса Маргушка. — Борщи, чай и фотографии — потом!

Последние слова жены для Дюмы-внука были приговором, не подлежащим ни обжалованию,

ни обсуждению. Бросив дорожку в прихожей прямо на пол и повесив аккуратно на вешалку фотоаппарат и объектив, Дюма-внук, не разуваясь, пошёл прямо в ванную.

Стоя под струями тёплой воды, Дюма-внук снова запел «Я люблю тебя до слёз...». Он один в мире знал, кого имел в виду, когда тянул и выкрикивал эти слова. Может быть, принцессу Маргушу? Он не заметил, как жена принесла ему чистое полотенце и замерла на минутку у ванны, залюбовавшись его мощным загорелым торсом. Зная, что муж не терпит во время омовения ничего присутствия, принцесса встрепенулась и, повесив полотенце на крючок, быстро удалилась.

Дюма-внук вышел из ванной в сланцах, обмотавшись полотенцем ниже пояса. Горячий борщ ждал его на кухонном столе. Дюма сел за стол и подвинул ноутбук ближе.

— Ешь, пока не остыл, потом будешь свои фотки смотреть! — крикнула из комнаты ему Маргушка. — Потом нельзя, — возразил Дюма-внук. — Ты лучше мне фотоаппарат принеси из прихожки.

Когда Маргарита принесла ему фотоаппарат, Дюма подключил его к ноутбуку. Прихлёбывая горячий борщ, он просматривал снимки, удаляя, на его взгляд, неудачные. Неудачных было штук семьдесят. Оставшиеся сто восемьдесят шесть фотограф сбросил в отдельную папку и, уже попивая чай, отправил тринадцать из них на электронный адрес Чудилы Серого. Закончив работу и чаепитие, Дюма-внук, довольный, встал из-за стола и направился в комнату. Маргушка сидела за письменным столом и смотрела телевизор.

— Переключи на спорт, скоро футбол должен быть, — попросил Дюма-внук жену, заваливаясь на кровать.

— Зачем тебе футбол? — спросила Маргарита. — Ты опять на первом тайме уснёшь. А я кулинарную передачу хочу посмотреть. Про китайскую кухню.

— А тебе зачем китайская кухня? Всё равно ничего готовить не будешь, — сказал ей Дюма-внук. — Я из Славиной харчевни какое хочешь блюдо привезу, что хочешь закажу. Давай на футбол, а если засну, то на свою кулинарию потом переключишь.

Маргушка не стала спорить и, переключив канал, пошла на кухню есть борщ.

Дюма-внук с минуту смотрел на экран, на футболистов, выходящих на поле, слушая известного комментатора, объявляющего составы команд, а потом повернулся на правый бок, решив, что смотреть футбол необязательно, можно просто слушать комментатора.

Ещё через минуту сон стал одолевать его, и Дюма-внук, отдаваясь его власти, подумал, что надо как-то этим летом собрать вместе Чудилу, Гарика, Славу Пионерова и, без всякого Монти, посидеть за тётчиной рябиновой настоечкой на веранде дачи, а потом попариться в баньке.

— Давно вместе хорошо не сидели... — то ли вполголоса, то ли громко сказал он, окончательно уходя во власть Морфея.

— Что ты там пробормотал? — спросила выглянувшая из кухни Маргарита, но, поняв, что муж уснул, выключила телевизор, укрыла Дюму-внука его одеялом и снова пошла на кухню.